

Беглец

Автор:

Федор Тютчев

Беглец

Федор Федорович Тютчев

«...Лицо незнакомца, с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой, могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся щеки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека, или только недавно перенесшего тяжелую болезнь, или сильно истомленного голодом...»

Фёдор Фёдорович Тютчев

Беглец

I. Бродяга

В 1876 году в один жаркий июльский день, верстах в 7 от города Нацвалли, по глухому мрачному аладжинскому ущелью, служащему, вместе с протекающей по нем рекой Араксом, границей России с Персией, пробирался молодой человек, лет 19–20, одетый в жалкое рубище армянина-поселенца: короткий полукафтан верблюжьего сукна, с бесчисленным множеством прорех, ситцевый бешмет и чувяки. Голова была покрыта засаленной тушинкой. По тому, с каким трудом, опираясь на толстую суковатую палку, передвигал он свои ноги, можно было судить о том далеком и тяжелом пути, который он сделал, раньше чем попасть в эти мертвенно неприветные места.

Лицо незнакомца, с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой, могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся щеки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека, или только недавно перенесшего тяжелую болезнь, или сильно истомленного голодом.

По мере того как путник подвигался вперед по тропинке, извивавшейся между желто-красными громадами скал, лишенных всякой растительности, силы, очевидно, оставляли его: он изредка останавливался, чтобы перевести дух, и затем снова брел вперед, едва-едва ступая наболевшими, покрытыми ранами и ссадинами ногами.

Налетавший изредка ветерок не приносил облегчения, а только обжигал лицо своим горячим дыханием. От раскаленных камней отдавало зноем, который, наполняя воздух, казалось, готов был испепелить мозг и душу человека.

Изнуренный и обессиленный, незнакомец присел на камень и с трудом вытянул ноги. Все тело его ныло от нечеловеческой усталости, во рту пересохло, язык потрескался, голова кружилась от голода и жажды.

Долго ли просидел он так, склонив голову на грудь и полузажмутив наболевшие от яркого света глаза, он не мог дать себе отчета. Из полубессознательного состояния, в котором он находился, его вывело раздавшееся где-то поблизости глухое ржание катера.

Незнакомец встrepенулcя, поднял голову, прислушался и, как бы сообразив что-то, торопливо поднялся с камня и побрел в ту сторону, откуда раздавалось ржание. Пройдя несколько саженей и обогнув прихотливо нависшую над тропинкой массивную скалу, слепленную из мелкого красного песчаника, он увидел перед собой небольшую круглую, глубокую котловину, окруженную со всех сторон, как стеной, высокими отвесными скалами. Защищенная от палящих лучей солнца котловина эта представляла прохладный, уютный, тенистый уголок; по дну ее., вырываясь из расщелины скалы, бежал сверкающий ручеек, образуя в одной из впадин прозрачно-хрустальный, холодный, как лед, водоем, с усыпанным мелкими разноцветными камешками дном.

При виде воды путник невольно вскрикнул от радости и, забыв всякую усталость, бросился к водоему. Долго пил он, погрузив свое опаленное зноем

лицо в холодные струи; когда же, наконец, напившись вволю, он поднял голову, глаза его встретились с другой парой черных, пронизательных глаз, пристально устремленных на него из-под нависших седых бровей. Глаза эти принадлежали худощавому старику, одетому, как одеваются богатые армяне на Закавказье – в черную шерстяную черкеску, с высоко «нашитыми на ней газырями и подпоясанную серебряным чешуйчатым поясом, с прицепленным на нем кинжалом в серебряных ножнах и кожаной, украшенной серебром кобурой, из которой выглядывала ручка револьвера, на узенькой галунной тесемке через шею. На коротко остриженную голову старика была надвинута по самые уши высокая конусообразная шапка-персиянка из мелкого блестящего, черного барашка. На ногах были надеты обшитые золотым шнуром чувяки. Сморщенное, худощавое лицо старика, с крючковатым толстым носом, похожим на клюв хищной птицы, было гладко выбрито, длинные седые усы закрывали рот и спускались ниже подбородка.

Старик сидел, свернув ноги калачиком, на разостланном коврике и закусывал мелко крошенным паныром с лавашом, запивая свой неприхотливый завтрак красным местным вином из большой темной бутылки.

В нескольких шагах, с надетой на голову торбой с ячменем, стоял рослый красивый катер, изжелта-белой масти, оседланный куртинским седлом, ярко-малиновый бархатный чепрак которого был расшит цветным шелком, а широкие медные стремяна украшены изящной насечкой; на шее катера висело красное сафьяновое ожерелье, вышитое синими и белыми бусами, с пришитым к нему амулетом, в виде кожаной ладанки, украшенной ракушками, – защита от дурного глаза. Сзади седла были приторочены большие, туго набитые ковровые хурджины.

– Кто ты такой? – спросил армянин ломаным русским языком, пристально рассматривая молодого человека.

– А зачем тебе это знать? – уклончиво ответил тот, опускаясь против него в тени у водоема и с угрюмой жадностью изголодавшегося человека поглядывая исподлобья на сыр, хлеб и вино, лежавшие перед армянином.

– Зачем?! Низачем, так спросил, если не хочешь – не говори! – сказал равнодушно старик, снова принимаясь за еду.

С минуту оба молчали.

– Послушай, бабай, – глухим голосом проговорил, наконец, молодой человек, – дай мне немного сыру и хлеба, я умираю с голоду. Пожалуйста!»

– Изволь, дюшэ мой, изволь, пожалуйста! – добродушно протянул ему старик остатки своего завтрака и наполовину недопитую бутылку с вином. – Кушай на здоровье! Карапет Мнацеканов чировэк добрый, пачему не дать, когда сам сыт. Кушай всэ. Оставлять ни надо!

Но молодой человек ничего и не думал оставлять. В один миг он доел весь сыр, который оставался в мешочке, подобрал все крошки лаваша и двумя глотками опорожнил бутылку. Все время, пока он ел, армянин не спускал с него пристального, внимательного взгляда.

– Ну, спасибо тебе, бабай! – повеселевшим голосом произнес молодой человек, возвращая порожнюю бутылку. – Теперь немного подкрепился, можно и дальше в путь. Скажи, пожалуйста, – продолжал он, – граница отсюда близко?

– Близко, часа через полтора дойдешь, а ты разве в Персию?

– В Персию, а ты?

– Я тоже в Персию! – ответил, немного подумав, армянин.

– И тоже, как я, не через таможню, а прямо через границу? Отлично, мы, стало быть, попутчики! Пойдем вместе, хочешь?

– Я на катере, ты пешком; как же мы поедем вместе? – уклончиво отвечал Карапет Мнацеканов, недоверчиво поглядывая на молодого человека.

– Об этом не беспокойся, я пеший от твоего катера не отстану, в дороге же я могу тебе пригодиться!

Армянин сомнительно покачал головой...

– Чем, дюшэ мой, ты мне можешь пригодиться, мой сыр-лаваш кюшать? – усмехнулся он, лукаво прищуриваясь.

– Смейся, а дай-ка мне ружье в руки, я тебе покажу, чем я могу быть тебе полезен. Ты ведь, наверно, сам стрелять не умеешь?

– Почему ты так думаешь? – немного как бы обиделся старик.

– А потому, что вы, армяне, вообще плохо стреляете. Это я в полку заметил. Грузины и имеретины стрелками на службу приходят, а вас, армян, учат, учат, а все толку мало!

– Ты беглый солдат? – встрепенулся Карапет.

– Почему солдат?

– А ты же, дюшэ мой, говоришь: «у нас в полку» – стало быть, ты сам из полка!

– Пусть будет по-твоему, из полка, так из полка, – согласился молодой человек, – не в этом дело, а в том, чтобы ты взял меня с собой. Раз ты едешь в Персию, тебе такой человек, как я, будет кстати. Там ведь то и дело разбойники попадают; дай мне свое ружье и не бойся, никого близко не подпущу!

– А ты хорошо стреляешь?

– Говорю, дай в руки ружье – увидишь!

Армянин встал, подошел к своему катеру и, вытащив из чехла почти новую, хорошо содержанную магазинку Пибоди, какими в то время перевооружалась турецкая кавалерия, подал ее молодому человеку.

– Куда же ты стрелять хочешь?

– А вон, видишь: орел сидит на круче! – сказал молодой человек, указывая пальцем на большого рыжего орла, нахохлившегося на скале. С того места, где они стояли, орел был виден не весь, так как был заслонен камнем, из-за которого выглядывала только его голова и часть спины.

– Ну, дюшэ мой, это ты хвастаешь; в орла ты не попадешь. Далеко очень и видно его плохо, голова одна. Нэт, дюшэ мой, стреляй другое!

Вместо ответа молодой человек вскинул ружье и начал медленно и внимательно прицеливаться.

Прошло несколько мгновений томительного ожидания, и вдруг грянул резкий, отрывистый выстрел, гулками перекатами прокатившийся по скалам.

Орел, встrepенувшись всем телом и сильно взмахнув крыльями, стремительно взвился вверх, описывая широкий круг.

– Говорил, дюшэ мой, нэ попадэш, вот и не попал! – торжествующе произнес армянин.

– Если ружье правильно бьет – попал! – со спокойной уверенностью произнес молодой человек, внимательно следя за орлом, рассекавшим воздух широкими и торопливыми взмахами крыльев. Вдруг могучая птица как-то странно, не по орлиному затрепыхалась на одном месте и начала сначала медленно, потом все быстрее и быстрее спускаться вниз, беспомощно и беспорядочно махая крыльями.

Через минуту она уже билась на камнях ближайшей скалы в тщетных усилиях вновь подняться. Вытягивая шею и раскрывая клюв, орел судорожно сжимал и разжимал острые когти, царапая ими камни; по временам он издавал глухой предсмертный крик, которому где-то высоко-высоко вторил другой орел.

– Ну, что? – торжествующе спросил молодой человек, поворачивая лицо свое к армянину. – Видишь, попал!

– Усташ, усташ! – потрепал тот его по плечу. – Молодец, дюшэ мой, большой молодец. В самом деле, давай вместе поедэм, ты ружьям бери, если разбойник ходить будэт, стреляй его, дюшэ мой, как орла стрелял, хорошо будет!

– Ну, вот и отлично! – обрадовался молодой человек. – Стало быть, можно и в путь трогаться!

II. Казнь огнем

Час спустя через один из бродов на реке Араксе, версты три ниже Аладжинского казачьего поста, осторожно переправлялись, сидя вдвоем на одном катере, Карапет Мнацеканов и молодой человек, которого Мнацеканов называл Иваном, решив про себя, что он, наверно, русский беглый солдат.

Неглубокий в этом месте, но чрезвычайно быстрый и бурный Араке с оглушительным грохотом яростно катил свои желто-мутные волны, угрожая ежеминутно опрокинуть и катера, и его всадников в пенящуюся пучину. На середине реки напор волн был так силен, что катер на минуту было приостановился, как бы не решаясь идти дальше.

– Шутора, шутора! – закричал на него Карапет, замахиваясь концом ременного поводка.

Катер затряс ушами и рванулся вперед, упираясь всею грудью против стремительного течения. Вода достигла седла, но через несколько саженей она начала быстро убывать, и с каждым новым шагом катер стал как бы вырастать под всадниками. Вот показалось его отвислое брюхо, за ним ноги до колен, колени, ниже колен, и наконец, весело пофыркивая, он мелкой рысцой благополучно выбрался на Апротивоположный крутой, осыпающийся песчаный берег.

– Ну, теперь надо глядеть во все глаза, – боязливо оглядываясь, произнес Карапет, – тут как раз разбойников встретить можно!

– Не бойся, старик, – со спокойной самоуверенностью отвечал его спутник, закладывая патроны в магазинку, – у нас, у русских, есть пословица: «Бог не выдаст, свинья не съест». Понимаешь?

Карапет утвердительно мотнул головой, и оба, не теряя времени, пустились в дальнейший путь.

Монастырь св. Стефана, куда направлялся теперь Карапет Мнацеканов, – одна из древнейших армянских святынь, и в свое время имел большое значение как оплот христианства среди враждебных ему мусульман.

Монастырь этот, воздвигнутый среди пустынных гор, со всех сторон был окружен дикими курдскими племенами, исключительно занимавшимися разведением бесчисленных стад овец и разбоем. Надо было много такта, ловкости и хитрости со стороны отцов – настоятелей монастыря, чтобы оставаться целыми и невредимыми, живя бок о бок с такими беспокойными, кровожадными и алчными соседями. Только грозная власть Суджннского владетельного хана Чингиз-Аги, с которым монастырь, ценой частых и обильных бэшкэшей, поддерживал дружбу, да страх перед близкой православной Россией сдерживали разнузданные толпы дикарей, всегда готовых с огнем и мечом обрушиться на монастырь, представлявший для них лакомую и, в сущности, легкую добычу.

Солнце приближалось к западу, когда Мнацеканов с Иваном подъехали к высоким стенам монастыря, окруженного со всех сторон густо разросшимися тополями, каштанами и норбандами, дававшими густую тень на широкую, усеянную камнями дорогу-аллею, ведущую к самым воротам монастыря, перед которыми на небольшой площадке теснилась толпа народа. Тут были мрачно нахмуренные курды, с сверкающими, как у волков, глазами, в черных чалмах, ярко-красных или малиновых, расшитых желтым и черным шнурком куртках и с целым арсеналом оружия за поясом; робкие, смиренные армянские сельчане в синих рубахах, кожаных чустах и в черных круглых суконных шапочках на головах, степенные, худощавые персы в бараньих папах, длинных аббах и халатах. Вся эта толпа стояла молча и, задрав головы, с жадным любопытством глядела на возвышающуюся перед нею огромную, совершенно отвесную скалу, отделенную от монастыря глубокой пропастью, на дне которой неистово бился среди острых камней бешеный поток.

Немного ниже остроконечной верхушки скалы находилась небольшая площадка, острым выступом нависшая над пропастью. На площадке этой суетилась небольшая группа людей в синих кафтанах, белых холщовых шароварах на выпуск и барашковых папах; за спинами у них поблескивали ружья. Это были «сарбазы» Суджннского владыки Чингиз-Аги. Между ними, со связанными назад руками стояли три курда: седой старик, с белыми, как снег, усами и бровями, но еще крепкий и прямой, и двое юношей, из которых младший выглядел еще совсем мальчиком, лет 13–14, не больше. Все трое стояли неподвижно и

совершенно равнодушно поглядывали на толстого человека в голубом казакине, суетившегося около них с черной жестянкой в руках. Человек этот занимался тем, что обильно смачивал, при помощи имевшейся у него тряпки, одежду курдов. Не довольствуясь этим, он иногда подымал жестянку и осторожно начинал поливать из нее то того, то другого из курдов, которые, по-видимому, относились к этому совершенно безучастно, не оказывая никакого сопротивления. Когда, наконец, вместительная посуда была опорожнена до дна, человек в голубом казакине взял из рук одного из сарбазов большие комки хлопка, с помощью трута зажег их и, торопливо засунув за пазуху каждому из курдов, поспешно перешел со всеми сарбазами с площадки на выступ соседней скалы по двум бревнам, которые после этого были быстро убраны.

Оставшиеся на площадке курды таким образом очутились совершенно изолированными. Сзади них возвышалась отвесная, как будто отполированная скала, кругом зияла глубокая бездна, над которой, как воздушный балкон, повисла небольшая площадка, где они стояли, неподвижные, молчаливые, как статуи, лицом к толпе, с жадным любопытством устремившей на них свои взгляды, с противоположной стороны, снизу от стен монастыря. Прошло около минуты, может быть, больше, может быть, меньше; вдруг, по одежде старика пробежали тонкие язычки пламени, лизнули ему грудь, спину, плечи, змейкой вильнули по огромной чалме... Показался дымок, и через мгновение старик вспыхнул весь, как смоляной факел. Почти одновременно с ним запылали оба его сына. Обильно смоченная керосином одежда горела ярким синеватым огнем. Несчастные издали отчаянный, душу потрясающий вопль и принялись кружиться на одном месте, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Видно было, как они неистово рвались из связывавших их веревок, оглашая воздух нечеловеческими воплями: они то бросались на землю и начинали кататься по ней, тщетно пытаясь этим затушить огонь, то снова вскакивали и неистово металась из стороны в сторону... Наконец, обезумев от страдания, один из них ринулся в пропасть, за ним последовали остальные. Как пылающие ракеты, мелькнули они в воздухе и исчезли внизу, в пенистых волнах бешено ревущего потока.

Иван, стоя рядом с Мнацекановым, глядел на совершавшуюся перед ним бесчеловечную казнь и чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове и весь он холодеет от невыразимого ужаса, охватившего все его существо. Что же касается остальной толпы, то для нее, очевидно, это зрелище было далеко не новостью: равнодушно доглядев до конца, она как ни в чем не бывало начала медленно расходиться, толкуя каждый о своих делах.

Только присутствовавшие при казни курды, и без того всегда молчаливые и угрюмые, еще более насупились. Некоторые из них, проходя мимо монастыря, бросали на него мрачные взгляды жгучей ненависти и в бессильной ярости стискивали крепкие и блестящие, как у волков, зубы.

III. Настоятель

Большая комната с низким потолком и глиняным, застланным паласами полом, с белыми, выкрашенными известью стенами, украшением которых служили: большое прекрасной работы распятие из слоновой кости и черного дерева и две олеографии, изображавшие: одна – государя императора Александра II на белом коне, другая – персидского шаха Наср-Эдлина, сидящего в кресле и усыпанного бриллиантами неимоверной величины.

В комнате при свете стенной лампы с матовым колпаком и двух свечей в высоких медных шандалах, на широкой тахте, покрытой персидским ковром, сидели Карапет Мнацеканов и высокий худощавый монах в черной рясе и бархатной ермолке. Черная, с легкой проседью борода монаха широким веером ложилась на его грудь, оттеняя его бледное, восковое лицо, на котором благодаря матовой белизне особенно ярко горели и сверкали черные, большие глаза под густыми бровями. Длинные густые волосы, слегка завиваясь, падали на плечи монаха, мешаясь с его роскошной бородой.

Он мог бы назваться красавцем, если бы не холодно-жестокое и в то же время хитрое выражение всего лица, а в особенности беспокойно бегающих глаз, да характерный армянский нос клювом, делавший его похожим на хищную птицу.

Это был сам настоятель монастыря св. Стефана, алчный и жестокий Ацватур-Тер-Хачатурьянц. Перед обоими собеседниками на большом круглом столе грубой работы, покрытом красной камчатной скатертью, стояли тарелки с незатейливыми яствами, среди которых главное место занимала разных сортов трава: тархун, мята, кресс-салат и другие. Эти травы, столь любимые армянами и татарами, в союзе с паныром составляют летом их главную, а зачастую и единственную пищу, которую они употребляют с лавашем в едва ли меньшем количестве, чем домашние животные, ишаки и лошади.

Перед каждым из беседующих стояло по бутылке светло-красного вина и по большому стакану, ни минуты не остававшемуся пустым, так как оба очень заботливо и внимательно подливали один другому, постоянно чокаясь и сопровождая это, по восточному обычаю, витиеватыми пожеланиями.

– Ты видел, – с жестокой усмешкой спросил монах, – как сегодня жгли трех «волков»?

– Видел, а за что?

– Подлые собаки! – с страстной ненавистью проговорил Тер-Ацватур. – На прошлой неделе они убили у меня одного монаха. Я послал двоих монахов в Абардцум за «десятиной». Проклятые «волки» пронюхали про это и устроили им засаду, почти под самым монастырем. К счастью, тому, кто вез деньги, удалось ускакать, я нарочно дал ему свою собственную лошадь, но другого, ехавшего на катере, они догнали, убили и обобрали догола. Я на другой же день отправил жалобу Чингиз-хану при хорошем подарке, прося его наказать курдов. Подарки мои, должно быть, понравились хану, а на курдов он и сам сердит за их постоянные разбои, а потому проклятый язычник не заставил долго ожидать и тотчас же прислал сюда своих сарбазов, приказав им, по моему указанию, схватить убийц и казнить их огнем. Я указал на этого старика и его двух сыновей. Их сейчас же схватили, подвергли пытке в подвалах монастыря, а сегодня сожгли.

– Каким же образом вам удалось разыскать убийц? Ведь это очень трудно. Курды никогда не выдают своих!

Настоятель злобно расхохотался.

– Да я и не думал разыскивать! Какое мне дело, кто именно из этих негодяев совершил убийство; все они мои заклятые враги, и я охотно истребил бы их всех до последнего младенца. Я указал на этого старика потому, что он пользовался большим значением среди своих; казнь его наведет на курдов особенный страх, показав им, что если уже с таким почетным стариком, как Худадар, не поцеремонились, то с другими и подавно не станут много разговаривать. Курды до последней минуты не верили, чтобы сарбазы решились сжечь Худадар, но я дал султану хороший бэшкэш, и он исполнил мое требование, хотя, я знаю, Чингиз-хан будет недоволен: он бы едва ли разрешил казнить Худадар.

– Я слышал, Чингиз-хан за последнее время стал очень строг с курдами и за всякую безделицу жжет их или бросает со скалы в пропасть, а между тем они по-прежнему продолжают грабить и здесь, и в России, куда переправляются целыми шайками... Бедовый народ!

– Чингиз-хану очень-то верить нельзя: он одной рукой казнит, а другой – в то же время поощряет всякие насилия, совершаемые курдами. Казнит не за то, что грабят, и не тех, кто грабит, а тех, кто попадает. Курды это отлично понимают и нисколько не в претензии на правителя. Проклятая страна! – со вздохом заключил настоятель. – Только тогда и будет порядок, когда русские отнимут ее у Персии!

– Ну, это еще не скоро! Русским не до Персии, у них теперь на шее близкая война с Турцией. Это очень хорошо для наших, живущих в Турции. Если Россия побьет турок, а в этом нельзя и сомневаться, она освободит от турецкого ига всех христиан, а в том числе и армян!

– Вы думаете? – скептически усмехнулся Хачатурьянц. – А я уверен, что армяне ничего не выиграют от этой войны; своих родных братьев-болгар Россия освободит, это наверно, мы же по-прежнему останемся рабами турок. Будет величайшим счастьем, если самой незначительной части нашего народа удастся вырваться из-под мусульманского ига, большая же часть останется при прежнем своем положении, если еще не в худшем <...>

По мере того как настоятель говорил, бледное лицо его еще больше бледнело, а глаза разгорелись пылким огнем вдохновения; он весь дрожал, протянув вперед костлявую руку, как бы угрожая кому-то или кого-то отстраняя. Мнацеканов с невольным страхом глядел ему в лицо, чутко прислушиваясь к его пророчествам.

– Полноте, отец! – попробовал он успокоить взволнованного монаха. – Зачем питать в себе такие мрачные мысли?! Бог даст, так не будет, но для того, чтобы так не было, армяне должны с своей стороны всеми силами помочь русским в предстоящей войне. Чем больше мы сделаем сами для нашего освобождения, чем больше принесем жертв, тем настойчивей можем требовать расплаты за них. По крайней мере, я такого убеждения и вот почему я и взялся за то опасное, рискованное дело, о котором говорил вам давеча!

– Смотрите, как бы вам не погибнуть! Турки хитры и беспощадны; если они догадаются, кто вы и зачем к ним приехали, они посадят вас на кол, верьте мне!

– Зачем вы говорите так, – с неудовольствием произнес Карапет, – зачем понапрасну пугать? Я без вас отлично знаю, какой опасности подвергаюсь, и не об этом хотел говорить с вами; мне нужно узнать ваше мнение, можно ли довериться Чингиз-хану. Генерал посылает ему со мной прекрасный подарок: дорогие золотые английские часы и пару богато украшенных револьверов; вместе с тем просит помочь мне безопасно под его покровительством проехать в Турцию, для собрания кое-каких важных сведений; весь вопрос – насколько можно довериться Чингиз-хану? Вы лучше моего знаете хана, имеете постоянно с ним дела, потому-то я и обращаюсь к вам за советом!

– Видите ли, – помолчав немного, начал настоятель, в раздумье пощипывая свою бороду. – Чингиз-хану, как и всякому персианину, верить, разумеется, нельзя, ни единому слову. Нет той страшной клятвы, которая могла бы связать его и заставить честно выполнить принятое на себя обязательство; в этом отношении они все поголовно лжецы и клятвопреступники, а Чингиз-хан, пожалуй, еще похуже других будет. Но когда от соблюдения обещания он ожидает себе какую-нибудь выгоду, то трудно найти человека более верного, чем он. В этих случаях он просто не оценим и готов служить всем, чем может, а так как он страшно хитер и по-своему умен, то помощь его может быть весьма существенной. Теперь, обсуждая ваше дело, я думаю, что Чингиз-хану нет причины идти против вас, в пользу турок. Во-первых, турок он терпеть не может и не боится, тогда как русских он хотя тоже ненавидит, но очень трусит и заискивает перед ними, особенно теперь, ввиду могущей быть войны. Во-вторых, от турок он ничего особенного ждать себе не может, не только никаких выгод, но даже и порядочных подарков, русские же ему могут к тем подаркам, которые вы везете, прислать еще столько же. Наконец, услуживая России против турок, он ничем не рискует, в обратном же случае, напротив, риск его очень велик; Россия мимоходом может захватить его ханство и стереть его самого с лица земли. Из всех этих соображений выходит, что Чингиз-хану нет никакого расчета не быть для вас верным и преданным союзником и помощником. По-моему, генерал очень умно поступил, послав вас в Турцию через Персию; тут вы проедете, не возбудив ни в ком никакого подозрения, тогда как на русско-турецкой границе, я думаю, турки, при всей своей беспечности, глядят в оба.

– Вы правы. На русско-турецкой границе теперь очень опасно. Недавно один абасгельский армянин хотел пройти в Каре по своему личному делу; турки

приняли его за шпиона и, недолго думая, повесили на телеграфном столбе!

- Бедняга! - вздохнул настоятель. - Еще одна жертва и далеко не последняя!

- Без жертв никакое дело не обходится. У русских есть хорошая поговорка, смысл которой таков: когда рубят дерево, остаются щепки.

- Это все так; но вопрос, принесут ли все эти жертвы ожидаемую пользу?

- Надо надеяться!

- Аминь! Теперь скажите мне, пожалуйста, что это за человек пришел с вами? По виду он не армянин и не татарин, на настоящего русского он тоже не похож.

- Хорошенько я и сам не знаю. Я его спрашивал, но, очевидно, он не хочет говорить всей правды. Называет себя Иваном, русским беглым солдатом, по-армянски не понимает ни одного слова, а по-татарски говорит недурно, хотя и не по-здешнему, а как говорят в окрестностях Тифлиса. Я его встретил недалеко уже от границы, в Аладжинском ущелье, едва живого от голода и усталости. После того как я его накормил, он стал проситься со мной в Персию; сначала я было не хотел его брать, но, увидав, как он замечательно хорошо стреляет из ружья, рассудил, что на случай встречи с курдами-разбойниками он мне может быть очень полезен, и согласился взять его с собой. Вот все, что я могу сказать вам об этом человеке.

- Но в Турцию, надеюсь, вы не собираетесь его везти? Там он может возбудить подозрение, а к тому же, кто его знает, что он за человек; чего доброго, еще выдаст вас туркам!

- Нет, само собой понятно, в Турцию мне нет причин его брать. Я думаю предложить Чингиз-хану взять его в число своих сарбазов; он может даже сделать его султаном и поручить учить своих ослов настоящему военному искусству...

- Или облить керосином и сжечь!

– Если захочет сжечь, пусть жжет, мне все равно и не я, конечно, буду перечить в этом Чингиз-хану. Пусть делает с ним, что хочет!

– Насколько я могу судить, он не из простых, – заметил настоятель, – интересно бы знать, зачем он бежал из России, и что он там наделал?

– Ну, это едва ли возможно, так как он, хотя и молод, но не из болтливых: язык держит хорошо на привязи.

– Стоит захотеть, – сквозь зубы, как бы про себя процедил настоятель, – а то всякий язык можно развязать. В прошлом году я приказал захватить мальчишку курда, надо было кое-что допытаться от него; на что уже упрямый был бесенок, целый день мучались, а к вечеру и он заговорил. Все рассказал, что нам надо было!

– Что же вы с ним сделали потом? – заинтересовался Мнацеканов. – Неужели выпустили?

– Как можно выпустить! Он бы пошел родным своим рассказал, те бы мстить начали. Нет, мы просто его придушили и закопали там же в подвале. Никто и не узнал!

– Так с ними, злодеями, и надо! – воскликнул Мнацеканов. – Курды – наши злейшие враги!

IV. В Судже у грозного Чингиз-хана

Селение Суджа, столица полунезависимого разбойничьего ханства Суджинского и резиденция его сурового властелина Чингиз-хана, расположена частью в долине, частью по склонам гор, окружающих со всех сторон это селение, которое персияне именуют, впрочем, городом. Оно состоит из целого ряда беспорядочно разбросанных и нагроможденных друг над другом каменных хижин, с плоскими земляными крышами и грязными, узенькими двориками.

Среди этих жалких лачуг, наполненных голодными, полунагими, невозможно грязными ребятишками, праздными, ленивыми мужчинами и отупевшими от непосильной работы и грубого обращения женщинами, горделиво возвышаются, утопая в зелени роскошных садов, белоснежные, высокие, поместительные дворцы, как самого владыки Суджей Сардаря Чингиз-аги, так и ближайших его родственников, носящих одну общую фамилию ханов Суджинских.

Дворцы эти, украшенные колоннадами, причудливыми арабесками на фронтонах и по карнизам, с целым рядом огромных окон из мелких разноцветных стекол, выглядят особенно величественно и роскошно по сравнению с робко жмущимися вокруг них жалкими мазанками.

Была уже ночь, когда Карапет с Иваном прибыли в Суджу и остановились в одном из караван-сараяв, где им отвели клетушку, похожую на каменный ящик, с единственной выходной дверью и узким, заделанным железной решеткой окном. Клетушка была совершенно пуста и лишена какой бы то ни было мебели и убранства. На каменном полу, поверх камышовых циновок, были разостланы изодранные, невозможно грязные паласы, в изобилии населенные всевозможными насекомыми. Надо иметь шкуру туземцев, чтобы заснуть в таком клоповнике.

За особую плату Карапету Мнацеканову караван-сарайщик притащил ситцевый засаленный тюфяк, набитый хлопком, и ситцевые же жиденькие продолговатые подушки. О постельном белье, наволочках, простынях, разумеется, никто и понятия не имел; все это заменялось засаленным ситцевым стеганым одеялом. Что же касается Ивана, то ему пришлось лечь прямо на полу, подложив свою черкеску под голову. Несмотря на всю свою усталость, он, однако, не в состоянии был уснуть; несметные легионы всевозможных паразитов с жадностью атаковали его, да, к довершению всего, и беспощадная мошка давала себя чувствовать. Все тело его горело, как в огне, и нестерпимо зудело, он ворочался с боку на бок, близкий к отчаянию, и с завистью поглядывал на Мнацеканова, беззаботно и крепко спавшего, несмотря ни на какие беспощадные нападения, на своем грязном до отвращения матрасике. Только под утро удалось Ивану забыться беспокойным тревожным сном, да и то ненадолго, так как Мнацеканов проснулся очень рано, чтобы идти во дворец Чингиз-аги, причем приказал и ему следовать за собой.

Молчаливый служитель в темно-синем казакине, застегнутом только на одну верхнюю пуговицу, с изображением на ней Льва и Солнца, и в конусообразной

мерлушковой папахе, на которой красовался медный герб того же Льва и Солнца, провел их в приемную комнату. Иван остался за дверями, а Мнацеканов прошел вперед и присоединился к группе лиц, сидевших полукругом посередине. Тут было два персидских купца в верблюжьих халатах и папах, мулла, седой, как лунь, в белоснежной аббе и белой огромной чалме, тучный, чернобородый сеид и в темно-синей чалме и синем же халате, и худой, как скелет, оборванный дервиш с полупомешанными глазами крайне нервный, точно одержимый пляской св. Витта. Остальные принадлежали, очевидно, к свите Сардаря одеты были в одинаковые темно-синие полукафтаны, с коасными кантами и с медными гербовыми пуговицами. Кафтаны эти, с широкой юбкой на сборках и непомерно высокой талией, застегивались только на одну верхнюю пуговицу; под кафтаном были надеты шелковые, черные с цветочками или горошками бешметы; люстриновые черные шаровары навыпуск и шерстяные разноцветные джурайки дополняли костюм. На головах они носили мерлушковые папахи с медным гербом, на котором был изображен Лев с обнаженным мечом в поднятой передней лапе – из-за спины Льва виднелся круглый диск Солнца с исходящими от него во все стороны лучами.

Вся эта компания сидела чинно, поджав под себя ноги, сложив на животах руки, и хранила глубокое молчание; только купцы время от времени перебрасывались между собой полусшепотом отрывистыми фразами. Мнацеканов, перед тем как усесться, отвесил всем низкий поклон, на который ему ответили плавным наклоном головы, причем каждый концами пальцев коснулся своего лба и груди; только полоумный дервиш вместо приветствия оскалил зубы и соорудил какую-то нелепую гримасу.

Опустившись на ковер, Мнацеканов внимательно оглядел комнату, показавшуюся ему довольно невзрачной. Низкий бревенчатый потолок, обмазанные гажей стены, каменный пол, застланный старыми паласами и отсутствие всякой мебели – делали ее вовсе не уютной, похожей скорее на сарай, чем на жилое помещение. Единственным украшением этой комнаты было большое окно во всю наружную стену; оно помещалось в решетчатой узорной раме, составленной из бесчисленного множества цветных стеклышек, разных величин и рисунков.

Самое окно, настолько большое, что в него мог свободно пройти человек, не склоняя головы, не отворялось ни наружу, ни во внутрь, а раздвигалось на две половинки. Из него открывался красивый вид на ханский сад. Особенно изящна была передняя часть сада, примыкавшая к дому. Правильно распланированные

дорожки были расчищены и усыпаны золотистым песком; на расположенных между ними ярко-зеленых лужайках красовались пышно разросшиеся кусты белых, алых, желтых и черно-малиновых роз, вокруг которых шли клумбы из самых разнообразных цветов. Фруктовые деревья, персики, алыча, курага и кизил были аккуратно подстрижены причем некоторым из них приданы причудливые формы птиц и каких-то чудовищ. Два огромных густых нарбанта, подобно гигантским шатрам, стояли посредине, далеко распространяя вокруг себя прохладную тень, под сенью которой робко журчали небольшие фонтанчики в мраморных бассейнах, наполненных холодной, прозрачной, как кристалл, водой. За садом темнел густой парк, тоже весьма аккуратно содержимый. Мнацеканову, слишком хорошо знакомому с тем, насколько персиане по природе своей ленивы и крайне неряшливы, с каким физическим отвращением относятся они ко всякому порядку и чистоте, просто не хотелось верить собственным глазам, глядя на этот удивительный порядок, царивший в ханском саду. Он искренно недоумевал, какая волшебная сила могла создать такой парк в этой глухой, дикой стране. Впрочем, если бы он мог проникнуть в глубь парка, где на небольшой полянке молча и угрюмо работало десятка полтора мушей, он бы воочию увидел эту самую волшебную силу. Она представилась бы ему в виде высокого толстого господина с рыжей бородкой и красным веснушчатым лицом, одетого в чечунчовый просторный костюм и пробковый шлем, с обвязанным вокруг тульи зеленым вуалем. В руках господин в чечунче держал толстую узловатую палку. По тому, как рабочие пугливо косились на эту палку всякий раз, когда обладатель ее, медленно прохаживавшийся взад и вперед в сторонке, приближался к ним, можно было безошибочно заключить, что они в достаточной степени знакомы со свойствами этой палки, крепкой и упругой, как сталь.

Действительно, мистер Джон, или, как его звали в Суджах, Джон-ага, главный садовник Чингиз-хана, даже по персидским понятиям считался человеком крайне жестоким. С отданными в его распоряжение рабочими он обращался хуже, чем со зверями. Самым мелким наказанием у него считалось немилосердное избиение палкой, преимущественно по темени, после которого человек несколько дней ходил как в тумане, не будучи в состоянии шевельнуть головой от нестерпимой боли. За более крупные проступки провинившегося спускали в глубокую яму и держали там без пищи и воды по несколько суток. При нестерпимой духоте и жаре, царившей в этом своеобразном карцере, переполненном к тому же земляными клопами и другими насекомыми, это наказание влекло за собой тяжкое заболевание и даже смерть. Когда же, по мнению Джон-аги, и такое наказание было недостаточным, он шел к Чингиз-хану с жалобой, результат которой был всегда одинаков: – воздушное путешествие на

дно пропасти из амбразуры углового окна ханского дворца.

При таких условиях не было ничего удивительного, что сад Чингиз-хана мог считаться настоящим земным раем по своей чистоте и благоустройству.

Прошло около часу. Сидевшие в приемной комнате продолжали терпеливо дожидаться, перебрасываясь между собой короткими фразами и изредка взглядывая на массивную дубовую дверь, ведущую во внутренние покои.

Вдруг она стремительно распахнулась, и в предшестве двух нукеров в комнату вошел высокий плечистый старик в кафтане шоколадного цвета из дорогого английского сукна, с высокой Талией, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, в темно-зеленом шелковом бешмете, каждая пуговка которого была из золота с вставленным в нее маленьким бриллиантом. Герб на шапке тоже золотой, на левой стороне груди сверкала, переливаясь тысячью огней, большая бриллиантовая звезда Льва и Солнца. Все десять пальцев были унизаны массивными золотыми кольцами с драгоценными камнями. На шее была надета толстая часовая цепочка, перехваченная аграфом из замечательно красивой и драгоценной бирюзы.

Лицо вошедшего было угрюмо, покрыто множеством морщин и носило на себе выражение холодной непроницаемости. Глядя на это лицо, на эти полуприкрытые длинными ресницами загадочные глаза, нельзя было решить, что думает этот человек, но в то же время весь он был как бы пропитан жестокостью, неумолимой, необузданной; той восточной, бесстрастной и холодной жестокостью, какою ознаменовали себя в истории азиатские владыки, устраивавшие пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников и наполнившие мешки человеческими глазами.

Войдя в комнату, Чингиз-хан быстро окинул присутствовавших тяжелым взглядом, на мгновение сверкнувшим из-под нависших бровей. Небрежно кивнув в ответ на низкий и почтительный, чуть не земной поклон своих гостей и подданных, он медленно опустился на подsunутую одним из нукеров подушку.

Кроме Карапета Мнацеканова, остальных всех Чингиз-хан видел уже не в первый раз, а потому, не обращая на них внимания, сосредоточил на армянине свой упорный, тяжелый взгляд, молча выжидая, что он скажет ему. Тот однако

продолжал молчать, почтительно сложив на груди руки и слегка наклонив голову.

– Кто ты, откуда и зачем? – обратился, наконец, к нему с вопросом Чингиз-хан.

– Я русский подданный, зовут меня Карапетом Мнацекановым, светлейший хан, а приехал я к тебе по особо важному делу, о котором могу сказать только наедине.

При этом ответе Чингиз-хан еще пристальней заглянул в глаза Мнацеканову и, подумав с минуту, хлопнул в ладоши. На этот призыв из-за дверей появился поразительной красоты мальчик, лет двенадцати, с нежным, женственным личиком и огромными томными глазами. Он наклонил свое ухо к лицу Чингиз-хана, и тот шепнул ему что-то, после чего мальчик подошел к Карапету и жестом пригласил его следовать за ним.

Выйдя из комнаты, мальчик повел Мнацеканова крытой стеклянной галереей с окнами в сад; галерея выходила на небольшой дворик, обнесенный высокой стеной. За этим двориком возвышалась красного кирпича башенка с винтообразной лестницей внутри. Поднявшись по лестнице ступеней пятьдесят, они очутились в совершенно круглой комнате, похожей на фонарь, стены и потолок которой состояли из деревянных резных рам с разноцветными стеклами. Пол комнаты был устлан коврами, а у большого окна лежало два бархатных матраца, составлявшие единственную мебель, если так можно назвать, этой комнаты.

Окно, как и большинство окон в дворцах персидских ханов, было раздвижное и похоже скорее на дверь, чем на окно, и перед ним был устроен небольшой висячий деревянный балкончик.

Пригласив Карапета сесть на один из матрацев, мальчик слегка кивнул головой.

Оставшись один, Мнацеканов от нечего делать вышел на балкон оглядеться.

Дворец Чингиз-хана стоял на горе, причем задний фасад с прилегающим к нему садом и парком обращен был к отлогой ее стороне, задняя же стена, где помещалась башня, выходила на противоположную сторону горы, причем стены здания, сливаясь с обрывом скалы, составляли с нею как бы одну общую

отвесную стену.

С чувством невольного страха заглянул Карапет через перила вниз. Под ним зияла глубокая пропасть. Красновато-желтые камни, в хаотическом беспорядке набросанные друг на друга, лежали в вечном покое, палимые жгучими лучами солнца. Кругом была мертвая пустыня: ни одного живого существа, ни малейшего движения, ни одного звука. Только под самой площадкой балкончика на остром выступе скалы молчаливо копошилось тесной кучкой несколько штук темно-бурых, белоголовых, безобразных грифов. Сначала Мнацеканов долго не мог понять, что они там делают, но, взглядевшись пристальней, с ужасом рассмотрел распростертый внизу на камнях труп человека, лежащего навзничь. Лицо трупа было истерзано когтями и клювами, ребра обнажены, кругом чернели засохшие лужи крови. Несколько поодаль белела другая груда человеческих костей; такие же кости, очевидно, растасканные хищными птицами и животными, виднелись то там, то здесь по всему каменистому пространству этой долины смерти.

Мнацеканов с омерзением отвернулся и поспешил с балкончика в комнату, где навстречу ему появился тот же мальчик с подносом в руках, на котором стояла крошечная чашечка крепкого кофе, стеклянная вазочка с вареньем, небольшая медная миска, до краев наполненная душистой, сладковатой, холодной, как лед водой, и блюдечко с приторными сладкими персидскими конфетками из сахара, муки и имбиря.

– Буюр, ага! – тихим, вкрадчивым голосом произнес мальчик, ставя поднос на ковер перед Мнацекановым. Хотя Карапету после только что виденного им зрелища было и не до еды, но отказаться от угощения он не мог, оскорбив тем хана, а потому ему ничего не оставалось иного, как рассыпаться в благодарностях.

– Чох-саол, чох-чих-саол, – произнес он несколько раз, приложив руку к сердцу и принимаясь за кофе.

Не успел он выпить первой чашки, как в комнату неслышными шагами вошел Чингиз-хан и, приблизившись к окну, опустился на матрац. Мальчик тотчас же подал ему кофе и кальян, после чего исчез за дверями, плотно прикрыв их за собой.

V. Политика

– Ну, в чем твое дело? – далеко не дружелюбным тоном произнес Чингиз-хан, в упор глядя в лицо Карапету и затягиваясь дымом кальяна.

– Я, светлейший хан, к тебе от генерала с письмом, – Карапет назвал одного из славных тогдашних боевых имен Кавказа, – и подарком. Когда ты прочтешь письмо, твоя мудрость сама изъяснит тебе то дело, за которым я прибыл!

Говоря таким образом, Мнацеканов достал из-за пазухи завернутый в кусок белого сафьяна пакет с тремя печатями и подал его хану, затем из висевшей на боку сумки достал небольшой футляр, бережно завернутый в толстую глянцевиновую бумагу и перевязанный красной ленточкой. Сорвав бумагу, он самый футляр положил к ногам хана.

Чингиз-хан, стараясь казаться равнодушным, медленным, ленивым жестом взял футляр в руки, но когда он раскрыл его, выражение алчной радости, помимо его воли, на мгновение мелькнуло в его лице. Впрочем, он тут же поспешил тщательно затаить в себе свои чувства и с напускным бесстрашием, но тем не менее весьма внимательно принялся разглядывать великолепные золотые часы с изящной короной из мелких бриллиантов на верхней узорчатой крышке. Сосредоточенно нахмуря брови, Чингиз-хан долго вертел часы в руках, то и дело прикладывая их к уху и внимательно прислушиваясь к звонкому, мелодичному бою, открывал и закрывал массивные крышки и подолгу разглядывал серебряный арабский циферблат со стрелками в виде змеек с бриллиантовыми головками.

Как ни старался хитрый полудикарь скрыть впечатление, произведенное на него подарком, Карапет мог ясно заметить, насколько он остался им доволен, потому счел за лучшее не отдавать теперь же другого подарка – двух револьверов, оставив их на после, до другого раза.

Насмотревшись вдоволь на часы, Чингиз-хан бережно уложил их в футляр и, спрятав в бездонный карман своего кафтана, принялся за чтение письма.

Письмо было написано по-татарски на изящном азербайджанском наречии и, как все восточного характера письма, начиналось многочисленными добрыми

пожеланиями и всякого рода учтивостями. По мере того как Чингиз-хан читал длинное и обстоятельное послание генерала, лицо его, и без того всегда суровое, делалось все угрюмей и озабоченней. Некоторые строки письма он перечитывал по два раза, как бы желая лучше запечатлеть их в своей памяти.

– Генерал хочет, чтобы я помог тебе пробраться в Турцию, дал возможность пожить там недели с две и затем опять вернуться обратно, – заговорил Чингиз-хан после непродолжительного молчания, последовавшего за прочтением письма, – хорошо, я согласен. Я отправлю тебя в Турцию как свое доверенное лицо, персидско-подданного, для закупок разных предметов. У меня там, в Санджанском вилайете, есть хороший друг Зафэр-паша; я пошлю ему с тобой письмо и попрошу его помочь тебе купить нужные мне товары. Я приступаю к перестройке своего дворца, тебе надо будет приискать мне хороших мастеров, для этого придется много поехать туда и сюда; хороших мастеров мало, а я строг, и мне угодить трудно... Понимаешь?

– Понимаю, светлейший хан. Это все, что только мне нужно от твоей милости. Остальное уже мое дело!

– Отлично! Итак, ты можешь ехать, когда хочешь, я дам тебе надежных проводников, храбрых и молчаливых. Письмо Зафэр-паше будет готово сегодня вечером. Когда солнце зайдет, приходи к моему секретарю Эмин-Эфенди и сообщи ему час твоего отъезда, он уже распорядится. Чем меньше времени пробудешь ты в Судже и чем скорее проедешь в Турцию, тем будет лучше; надо спешить, пока люди не развяжут путь своим языкам... Понял?

Мнацеканов в знак согласия почтительно наклонил голову. На несколько минут воцарилось молчание.

– Итак, война будет, – заговорил снова Чингиз-хан, – глупые же советчики у Пади-Шаха, если не сумели и не захотели отговорить его от такого безумия – воевать с русскими. Он не успеет свершить трех намазов, как русские войдут в Константинополь!

– На все воля Аллаха! – осторожно заметил Мнацеканов, не вполне доверяя искренности слов Чингиз-хана.

– Конечно, воля Аллаха первое дело, – усмехнулся тот, – но почему-то всегда так бывает, что воля Аллаха склоняется постоянно на сторону того, у кого войска больше и обучены они лучше. Когда волк схватывается с лисицей, то Аллах каждый раз помогает первому, и он легко разрывает лисицу зубами, несмотря на то, что она, по всей вероятности, не менее усердно молится Аллаху о даровании ей победы. С турками будет то же, что и с лисицей. Аллах, наверно, не будет на их стороне!

Опять наступило молчание. Чингиз-хан, очевидно, хотел заговорить о чем-то, но не находил подходящей нити для начала разговора, а Мнацеканов нарочно и упорно молчал, избегая расспросов, на которые ему было бы трудно или совершенно невозможно отвечать.

– Скажи, почему русские мной недовольны? – решил, наконец, Чингиз-хан. – За что мне постоянно шлют угрозы и жалуются на меня Шах-ин-Шаху? Разве я плохой сосед?

– Помилуй, хан, откуда могут происходить такие мысли, – всплеснул даже руками Карапет, – разве мы все не знаем, насколько твоя светлость истинный друг русских? Но если позволишь сказать правду, твои курды действительно причиняют много хлопот и беспокойства приграничным жителям в России. Они то и дело целыми шайками переправляются на ту сторону, грабят селения, угоняют скот, а нередко совершают и убийства!

– Ну, это еще кто кого, – мрачно произнес Чингиз-хан, – если суджинские курды и нападают на пограничных жителей России, то ведь то же делают и русские курды. Разве они не переходят на нашу сторону, не нападают на моих людей и не грабят их? А казаки? Сколько перестреляли они моих поселян, татар? Никто не смеет подойти днем к Араксу поить скот, – казаки ради потехи стреляют не только в мужчин, но даже и в женщин, и детей!

– Почему хан не напишет об этом генералу? – спросил Мнацеканов.

– А разве мне поверят? Про меня распустили молву как о разбойнике, будто бы я делюсь с курдами награбленным добром, и каждую минуту готов сам совершить набег на русские кордоны. Поэтому-то на все мои жалобы глядят как на ложь и клязу!

Он сердито замолчал и с ожесточением принялся пыхтеть кальяном.

Карапет молчал. В словах хана была доля правды. Казаки, а в особенности пластуны, занимавшие в те времена кордонную пограничную линию, действительно мало церемонились с «проклятыми бусурманами» и при всяком удобном случае не прочь были подстрелить «переклику», мало интересуясь тем, «мирные» они или «не мирные». Офицеры в этом случае нередко сами показывали пример жестокости. Так, например, про одного пластуна-офицера рассказывали, будто бы он поставил на крыше своего поста прицельный станок и, точно размерив различные расстояния на противоположном берегу, устраивал для своего развлечения стрельбу по появившимся на той стороне курдам и персам. Сидя на стуле и положив винтовку на станок, он, ориентируясь на измеренные заранее предметы, ставил правильный прицел и без промаха «подрезывал» намеченные им жертвы. Впрочем, справедливость требует сказать, что, по-видимому, беспричинная жестокость имела свое весьма резонное основание. Разбросанные далеко друг от друга малочисленные казачьи пикеты и кордоны жили под постоянной угрозой быть вырезанными персиянами и курдами и только террором могли сдерживать кровожадность и фанатизм зарубежных дикарей. Случаи нападения и поголовного вырезывания целых казачьих постов были не редкость. Конечно, после всякого такого происшествия между соседями разыгрывалось бесконечное кровомщение. Одна сторона жестоко мстила другой, и разобрать тогда, на чьей стороне была правда и кто, в сущности, является зачинщиком, представлялось положительно невозможным. С усилением русской власти на границе, а затем с передачей охраны границы Пограничной Страже отношения между двумя пограничными народностями сделались гораздо лучше.

С каждым днем растет между ними доверие, и теперь уже жизнь на этих далеких окраинах во многих местах не более опасна, чем в центральных губерниях России.

– Что это за человек с тобой? – спросил Чингиз-хан, уже успевший своим всезамечающим глазом увидеть Ивана. – Он не армянин?

– Нет, это русский беглый солдат. Я его встретил почти на самой границе! – ответил Мнацеканов и тут же рассказал Чингиз-хану все, что сам знал о человеке, прозванном им Иваном.

Чингиз-хан слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

- Ты что же, хочешь взять его в Турцию?

- Нет, ага, это невозможно! В Турции он легко возбудит подозрение, там сейчас же угадают в нем русского и примут нас за шпионов. Я хотел предложить твоей светлости принять его в число твоих нукеров, он может даже обучать твоих сарбазов военной службе на русский манер; насколько я успел понять, он храбрый и умный человек!

- Что же, пожалуй, я возьму его, - в раздумье произнес Чингиз-хан, - прикажи привести его сюда, я поговорю с ним, а сам можешь идти теперь. Помни же, вечером приходи к Эмин-Эфенди, он передаст тебе все, что нужно этот. Прощай!

На этот раз хан милостиво протянул руку Мнацеканову, который поспешил осторожно и подобострастно пожать концы ханских пальцев.

VI. Ренегат

- Кто ты такой? - грозно насупя брови, с величественной небрежностью спросил Чингиз-хан, окидывая пристальным взглядом стоявшего перед ним Ивана.

- Беглый солдат, унтер-офицер! - ответил тот по-татарски совершенно спокойно.

- Где ты выучился по-татарски? Ты ведь не мусульманин?

- Нет, я русский. Но там, где я жил, многие русские умеют говорить по-татарски.

- А где же ты жил?

- Недалеко от Тифлиса.

- Зачем ты бежал из полка?

– Этого я не скажу. Я, конечно, мог бы соврать тебе, хан, и наговорить сказок, но врать я не люблю, а правду сказать тоже не могу, мне это слишком тяжело, а для тебя безразлично знать или не знать причину, заставившую меня бежать из России!

Чингиз-хан; приученный к раболепству, вовсе не ожидал такого смелого ответа. Он вспылил, и глаза его бешено сверкнули.

– Собака! – закричал он, топнув ногой. – Как ты смеешь отвечать мне подобным образом? Видишь это окно, – он указал пальцем на окно с балкончиком, с которого перед тем смотрел Карапет, – поди взгляни, сколько трупов валяется внизу, мне стоит сделать одно движение бровью, и ты будешь лежать там же, как падаль!

– Конечно, ты волен убить меня, – с тем же невозмутимым хладнокровием ответил Иван, не удостоив рокового окна взглядом, – но тогда, стало быть, все, что я слышал про тебя, вранье, пустая бабья болтовня, и ты вовсе не таков, каким тебя описывают. Когда я шел к тебе, мне говорили про тебя как про самого умного и проникательного человека в Персии, тебя называли орлом, видящим насквозь каждого человека, с которым ты встречаешься, и что же, – ты с первых же слов собираешься выкинуть в окно, как ненужную тряпку, человека, могущего быть тебе весьма полезным, за которого, если бы ты отдал всех твоих глупых нукеров, и то было бы мало!

– Чем же ты можешь быть мне уже таким полезным? – с иронией в голосе, но тем не менее пораженный его смелостью, спросил Чингиз-хан.

– Сделай меня твоим телохранителем и дай мне команду человек сто, я тебе приготовлю такую лихую, хорошо обученную сотню, какой нет у самого шаха. Пусть тогда осмелится кто-нибудь взбунтоваться против тебя, с одной этой сотней можно будет разнести тысячу человек!

Чингиз-хан молча и пытливо глядел в лицо Ивана, обдумывая про себя его предложение. Тот стоял, смело и гордо подняв голову, не опуская глаз под тяжелым, недобрим взглядом сардаря.

– Ты христианин, – неопределенно произнес, наконец, Чингиз-хан, – могу ли я тебе верить? Если хочешь заслужить мое доверие, сделайся правоверным, и

тогда увидим; в противном случае ступай с моих глаз и знай, если русские потребуют твоей выдачи, я прикажу тебя связать и отправить на ту сторону. Понял?

– Бог один, и у мусульман, и у христиан, – вера разная, – ответил Иван, – если я пришел к тебе, хан, то отныне твоя страна – моя страна, твоя вера – моя вера, твои обычаи – мои обычаи. Я ушел со своей родины, чтобы никогда не возвращаться назад, я порвал с ней окончательно. Если ты, хан, не примешь меня, я уйду в Турцию!

Чингиз-хану, очевидно, понравился ответ Ивана, хмурое лицо его на мгновение прояснилось.

– Хорошо, – сказал он, – оставайся. Отрекись от гяуров, стань добрым мусульманином, и я приближу тебя к себе, я дам тебе дом, землю, жену, ты не будешь нуждаться, но помни, – и в голосе хана зазвучала зловещая нотка, – вся твоя жизнь, все твое дыхание, голова и сердце – мои! Ты должен знать только меня, и только на меня должны устремляться твои очи! Что бы я ни приказал тебе, ты должен исполнять не колеблясь, как рука исполняет волю головы, иначе – смерть, лютая, жестокая смерть! Запомни хорошо мои слова. А теперь иди к моим нукерам, скажи, что я прислал тебя, и жди дальнейших приказаний!

VII. Через много лет

Большое селение Шах-Абад красиво раскинулось по склону высокого холма, спускающегося отлогими террасами к самой реке Араке. Вблизи крайне безобразные, слепленные из грязи и кое-как побеленные с земляными, всегда полуразрушенными крышами и черными дырами вместо окон, жалкие лачуги селения издали благодаря главным образом густой зелени садов выглядят очень живописно. Бесчисленное множество ручейков сверкая резвыми струями, прихотливо бегут по выложенному камнем руслу и то пропадают под землей, то снова вырываются наружу и наконец соединяются в разбросанных по разным концам селения водоемах. На самой вершине холма, в стороне от прочих построек, расположен целый ряд домиков, по внешнему своему виду и архитектуре напоминающих европейские строения. Высокий каменный фундамент, гладкие кирпичные стены под штукатурку, большие окна с

деревянными рамами, трубы на крышах и, наконец, просторные, высокие входные двери, с медными скобами и внутренними замками, а главное – общее строгое однообразие всех построек ясно говорили всякому, что в этих зданиях помещается какое-нибудь казенное учреждение. Высокая мачта с развевающимся на ее верхушке флагом окончательно подтверждала это предположение.

Действительно, здания эти вмещали в себе шах-абадскую таможенную с пакгаузом, канцелярией, квартирами чиновников и казармой таможенных солдат. Перед главным домом, где помещались канцелярия и находящаяся рядом с ней квартира управляющего таможней, был раскинут не особенно большой, но чрезвычайно густой и тенистый сад, изрезанный по всем направлениям дорожками, вдоль которых сплошной стеной шли розовые и гранатовые кусты. Под стенами дома был разбит красивый палисадник, со множеством чрезвычайно разнообразных цветов, а в противоположной стороне у задней стены живой изгороди виднелся тщательно возделанный огород. По середине сада был устроен каменный бассейн, доставлявший всему саду обильное орошение. В стороне от бассейна, обращенная к нему входом, возвышалась под сенью двух густых тутовых деревьев круглая конусообразная парусиновая палатка, внутри которой стояли небольшой стол, тахта, застланная ковром, и два-три венских стула. Бока палатки с двух противоположных сторон были откинута, отчего получалась небольшая сквозная тяга воздуха, немного умерявшая зной: несмотря на конец августа и на то, что день склонялся к вечеру, жара стояла нестерпимая.

Простенькое белое кисейное платье с открытым воротом плотно облегало ее стройную, немного худощавую фигуру. Поглощенная всецело своим писанием, девушка не подымала головы и только изредка досадливо отбрасывала рукой со лба волнистую прядь волос, упрямо лезшую ей прямо в глаза. Она, очевидно, очень торопилась. Рука ее быстро и нервно мелькала, выводя мелкими буквами строчку за строчкой на странице толстой переплетенной тетради. Закончив страничку, она тщательно присушила ее листком протечной бумаги и только хотела перевернуть, чтобы продолжать дальше, как из дома вышла молодая, полная дама без шляпы, но под зонтиком.

– Лидия, а я к тебе! – крикнула молодая дама, сходя по ступенькам в сад, – в комнатах просто нет возможности сидеть, так душно. В палатке, наверно, гораздо прохладней.

– Милости просим, – ответила девушка, – здесь действительно еще сносно, с грехом пополам сидеть можно, не рискуя быть совершенно испеченной.

– Господи, – искренно изумилась молодая женщина, входя в палатку, – ты в такую адскую жару находишь возможным еще писать, не понимаю... я так просто пальцем не могу шевельнуть. Поверишь, мне даже думать жарко.

Лидия весело расхохоталась.

– Положим, Оля, ты всегда была немного Обломовым, даже барышней, а теперь, сделавшись мадам Щербо-Рожновской, совершенно обабилась.

– Фуй, «обабилась», кэль выражаясь, – шутливо поморщилась Щербо-Рожновская, – а еще институтка! Ну, нечего сказать, изящному *façon de parler* {манерам (фр.).} учат в институтах нынешнего времени!

– Ах, Боже мой, – институтка нынешнего времени; подумаешь, сама давно кончила! У нас, наверно, еще и парту-то, на которой ты сидела в выпускном классе, перекрасить не успели.

– Нет, друг мой, – слегка вздохнула Ольга, – наверно, перекрасили и не один раз. Это только так кажется будто бы недавно, а подсчитай-ка: – почти пять лет прошло, как я замужем и живу на Закавказье, да дома в девушках около года, и выходит без малого 6 лет со дня моего выхода из института. Время летит, как птица; не заметишь, как начнешь стариться, особенно при такой однообразной, монотонной жизни в таком убийственном климате. Обидней всего то, что состаришься, не выдавши молодости, среди пошлости и скуки провинциального прозябания. Впрочем, нашу трущобу даже и провинцией нельзя назвать, просто-напросто безлюдная глушь, дикая пустыня и ничего больше!

– Ну, полно, что за мрачные мысли! По-моему, здесь жизнь вовсе не так уж однообразна, как ты говоришь; что касается меня, то, признаюсь, я с большим интересом приглядываюсь ко всему окружающему и нахожу как людей, так и местный быт заслуживающими большого внимания. Каждый день мне приносит массу новых, оригинальных впечатлений; одни здешние типы чего стоят!

– Ах, полно, – с досадой перебила Лидию Ольга, – всех этих впечатлений хватит не более как на один год, потом все это так надоест, что глаза не глядели бы. Ты думаешь, я, когда в первый раз приехала на Закавказье, не испытала того же? Испытала в лучшем виде, – при взгляде на верблюда в умиление приходила, а на всякого пройдоху в черкеске смотрела, как на какого-нибудь Бей-Булата и Хаджи-Абрека; духанщиков, армяшек лживых, трусливых, ничтожных, принимала за черкесов... Ах, да всего и не вспомнишь! Это общая болезнь всех русских, приезжающих из центральных губерний, поэтизировать Кавказ и глядеть на него сквозь лермонтовские очки; но при дальнейшем знакомстве эта блажь скоро соскакивает, глаза проясняются, и начинаешь видеть все в настоящем его свете. <...>

– Ну, уж ты чересчур! – укоризненно покачала головой Лидия. – Тебе просто захотелось пожить в большом городе с его увеселениями и сутолокой, оттого тебе и кажется все гадким. Ты озлобилась и на природу, и на людей, бранишь армян, бранишь татар; даже здешними русскими молочанами, и теми недовольна, а я скажу, что армяне далеко уже не так худы, как про них говорят; в них много природного радушия, гостеприимства, веселости, они чрезвычайно трудолюбивы и способны; что же касается татар, – мне в них нравится религиозность, безропотная покорность судьбе, величавая важность во всех движениях и их беззаботность в завтрашнем дне, они истые философы, чуждые европейской меркантильности...

– Довольно, довольно, будет, уши вянут, – с явным раздражением замахала руками Ольга, – такую чепуху можно говорить только на пятый день по приезде на Закавказье, а ты уже, слава Богу три месяца живешь здесь! Вот никак не ожидала видеть в тебе такую институтскую восторженность. Впрочем, у тебя это отцовская черта. Наш отец в восторг приходил от Финляндии и находил ее самой живописной, самой лучшей страной в мире. Я только одно лето прожила там, и мне она вовсе не понравилась. Угрюмое, серое небо, тусклое солнце, голые скалы, люди точно пещерного периода, хмурые, молчаливые, обросшие мохом, с вонючими трубками в зубах... Брр...

– А где же хорошо по-твоему? Мабудь под Полтавой? – лукаво подмигнула Лидия.

– А то ж и взаправду, – оживилась Ольга, – разве же можно сравнить нашу чудную Украину с какой-нибудь Чухляндией или тем более с этим басурманским Закавказьем. Что ни возьми – климат ли, – превосходный; природу ли, – богатейшая; людей ли, – и люди прекраснейшие! Так вот и вижу перед собой

нашего хохла: широкоплечий, богатырски сложенный, неповоротливый с виду, чудаковатый, а в сущности большая умница, природный юморист и комик, с поэтической, отзывчивой душой и железным характером, благодаря которому он вынес на своих могучих плечах татарские набеги, турецкие погромы, гнет панов-ляхов и всякие правды и неправды московских бояр, вынес и остался тем же, чем был, не изменил себе, своей самобытности. Ну, скажи сама, это ли не народ-богатырь?

Ольга говорила с увлечением. Лицо ее покраснелось, а большие, томные глаза разгорелись.

Лидия не выдержала и громко и весело расхохоталась.

- Чему ты? - удивилась Ольга.

- Ну и курьезная же наша семья - как подумаешь, - отвечала сквозь смех Лидия, - во всем крайности и несообразности! Ты истая хохлушка и душой, и наружностью, тебе бы быть какой-нибудь Ганзей Перерепенко, а ты урожденная Норден-Штраль, Ольга Оскаровна; я, твоя родная сестра, ни капли на тебя не похожая, лицом и характером настоящая шведка. Отец наш, живя в Малороссии, грезил далекой, холодной Финляндией, а мать когда ей пришлось на несколько лет переехать в Финляндию, чуть не умерла с тоски по родной Украине.

- Что ж тут удивительного, - задумчиво произнесла Ольга, - это так бывает почти всегда при смешанных браках!

- У отца жена должна была быть шведкой, и жить им следовало в Финляндии; матери нашей нужно было выйти замуж за какого-нибудь Тараса Ковтуна и не покидать своей Украины. Я вот поступила разумней, сама хохлушка, и мой Осип Петрович - тоже заправдашний хохол. Когда-нибудь под старость, как заслужим пенсию, уедем в Киевскую, Полтавскую или Черниговскую губернию, купим хуторок, да и будем пануваты!

- А я здесь останусь, на Закавказье, мне здесь нравится, влюблюсь в какого-нибудь черкесского армянина или татарского хана, и прекрасно!

– Смейся, смейся, а я, признаться, очень недовольна твоей дружбой со всеми здешними беками и ханками; мусульмане вовсе не компания нам, русским; между ними есть, конечно, хорошие люди, хотя бы, например, наш комиссионер Али-бек, но большинство из них настоящие дикари.

– Это-то в них и интересно. На цивилизованных кавалеров я уже в Москве нагладелась и мне, право, гораздо больше нравятся сыны природы, как, например, хотя бы сыновья местного хана Тимур и Джаагир шах-абадские.

– Ты все шутишь, – уже с некоторой досадой произнесла Ольга, – а я вовсе не шучу, напротив, серьезно и убедительно прошу тебя, держи себя подальше вот от этих-то самых Джаагира и Тимура. Оба они порядочные негодяи и головорезы.

– Что же, ты боишься, как бы меня не похитили? – усмехнулась Лидия.

– Похитить не похитят, а от каждого местного татарина всегда можно ожидать всякой пакости. К тому же твое вольное обращение с ними вызывает сплетни и пересуды между чиновниками. Что за охота компрометировать себя из-за каких-то оболтусов?

– Недоставало, чтобы я стала обращать внимание на пересуды ваших чиновников и чиновниц, – капризно топнула ногой Лидия, – подумаешь, какие?

– А взаправду добрые люди кажут, гди соберутся две бабы, там вже и ярмарка; шо таке тутотка раскудахтались?

С этими словами в палатку вошел высокий, плотный мужчина лет сорока, бритый, с длинными казацкими усами, одетый в чечунчовую тужурку таможенного ведомства. Это был сам Осип Петрович Щербо-Рожновский, муж Ольги Оскаровны и управляющий шах-абадской таможней. Он только что окончил занятия и вышел в сад подышать свежим воздухом после долгого, утомительного сидения в канцелярии.

VIII. Сосед

– Да вот, Остап, – пожаловалась Ольга мужу, – все с Лидией спорю. Ну, скажи, не права я? Разве хорошо она делает, выказывая так явно свои симпатии местным татарам и армянам, особенно этим двум ханкам Тимуру и Джаагиру шах-абадским?! Она постоянно с ними гуляет, ездит с ними верхом, точно с какими-то своими пажами; в конце концов, люди Бог знает что могут подумать.

– Ну, и пусть их, на здоровье, – с капризной настойчивостью качнула головой Лидия, – очень меня это интересует!

Осип Петрович добродушно ухмыльнулся.

– Ничего, жинка, брось, дай срок, Лидии Оскаровне самой все эти господа азиаты скоро хуже горькой редьки обрыдлят. Теперь, пока внове, ее все интересует и в ином лучшем свете кажется, а приглядится – как и мы, грешные, всю эту басурманщину возненавидит.

Лидия хотела что-то возразить, но в эту минуту около калитки раздался топот лошади и чей-то симпатичный голос громко и весело крикнул:

– Можно?

– А, это вы, Аркадий Владимирович! – радостно откликнулся Щербо-Рожновский. – Разумеется, можно; что за спросы, разве не знаете, какой вы для нас всегда дорогой гость?

Говоря таким образом, Осип Петрович торопливо пошел навстречу высокому, белокурому пограничному офицеру в кителе и белой фуражке. Встретясь с ним, он крепко пожал ему руку, на что офицер с ласковой улыбкой ответил тем же, а затем подошел к дамам и вежливо поздоровался с ними. В ту минуту, когда он слегка сжал пальчики Лидии, в лице его на мгновение промелькнуло выражение затаенного, худо скрытого восхищения.

– Как кстати вы приехали, Аркадий Владимирович: вич, – ласково улыбнулась Ольга Оскаровна, – мы сей час будем чай пить, и вы – за компанию.

– Не откажусь. Признаться, я дома не пил!

– Ну, что нового? – спросил Щербо-Рожновский, садясь рядом и дружелюбно похлопывая Аркадия Владимировича по колену. Тот добродушно усмехнулся.

– Нового? – переспросил он, – да какие новости могут быть у нас здесь, в этой трущобе. Все то же, что и вчера, и десять – двадцать дней тому назад. Встал утром, пил чай, писал разные входящие и исходящие, завтракал, после завтрака ездил в разъезд, вернулся к обеду, отобедал, после обеда, простите, поспал немножко, затем приказал оседлать Руслана и приехал к вам. Вот весь мой день. А у вас как?

– То же самое, с тою только разницей, что вместо разъезда хожу в пакгауз или на паром. Да, батенька, жизнь как веретено вертится, а все на одном месте. Однообразие полнейшее. В прошлом году, вас еще не было, проезжал тут в Персию один миссионер-англичанин, заболел лихорадкой и прожил у меня дня 3–4, недурно говорил по-немецки, расспрашивал, как мы живем, что делаем, как время проводим, и когда я ему подробно рассказал о нашем житье-бытье, знаете, что он мне отчубучил? – «Вот, – говорит, – вы, русские, обижаетесь, когда мы, – понимай, Западная Европа, – не считаем вас за европейцев. Ну согласитесь сами, если бы вы были действительно европеец, могли ли бы вы жить при таких условиях, вне всякой культуры и культурных потребностей?»

– Ну, а вы что ему на это? – заинтересовался Аркадий Владимирович.

– А что я мог ему ответить? Он же безусловно прав. Вообразите себе англичанина без какого-нибудь, хоть маленького, клуба, без ежедневной почты, без церкви, без всякого развлечения, хотя бы лаун-тенниса или футбола, и при том не в течение известного какого-нибудь, заранее определенного времени, а на всю жизнь, без надежды когда-либо очутиться в лучших, более человеческих условиях, к довершению всего, получающего за все за это гроши, которых едва-едва хватает на предметы первой необходимости. Согласитесь, что это даже и вообразить себе невозможно. Ни англичанин, ни француз, ни немец – ни за что бы не согласились на подобную жизнь; мы живем и хлеб жуем и даже не находим нужным влиять на окружающих нас полудикарей в смысле их цивилизации. Вместо того, чтобы их заставить усвоить наши привычки и обычаи, мы сами снисходим до них, применяемся к их вкусам, обычаям, понятиям. Англичане в Индии, французы – в Алжире, немцы – в Камеруне продолжают жить, как жили в Лондоне, Париже, Берлине, приучая туземцев к своим привычкам, а мы, русские, как только приезжаем сюда, хватаемся за панырь, лаваш, тархун, день распределяем по мулле и об одном только и заботимся,

чтобы как-нибудь не нарушить привычек туземцев, не оскорбить их религиозных взглядов, не задеть их обычаи. Какой же всему этому результат? Самый печальный и для нас самих, и для попавших нам в руки дикарей. Вот мы Закавказьем владеем более полувека, но если бы каким-нибудь чудом нас выбросили отсюда, то через год не осталось бы и следа нашего полувекового владычества, ни в чем решительно. Никто бы и не поверил даже, будто бы эта страна находилась 50 лет под управлением европейского цивилизованного государства, точно нас и не было никогда. Да, батюшка, плохие мы, русские, цивилизаторы, и не знаю, будем ли когда-нибудь лучшими. Вот возьмите, далеко не ходить, мою прелестную Лидию Оскаровну; москвичка, хохлушка, все, что хотите, приехала на Закавказье и в восторге от всего здешнего, – ишаки – прелесть, ханки полуграмотные – душки, в грязном, полоумном дервише видит что-то библейское, чуть ли не чадру готова надеть и мусульманкой сделаться... Ну, скажите, пожалуйста, мыслим ли среди англичанок такой тип?

– Ну, вы, кажется, уже чересчур нападаете на Лидию Оскаровну, – улыбнулся Аркадий Владимирович, – я вовсе не замечаю в них такого стремления к ренегатству.

– А вы прочтите ее дневник, который она ведет со дня приезда на Закавказье, тогда и узнаете.

– А вы читали? – немного задетая за живое, спросила Лидия.

– Сам не читал, Оля говорила. Она читала.

– А со стороны Оли это очень нехорошо: если я ей доверилась и дала ей прочесть свой дневник, то она должна была держать это в секрете.

– Да я ничего особенного и не рассказывала, – начала оправдываться Ольга Оскаровна, – просто к слову сказала, что у тебя во всем проглядывает какая-то особая страсть и приверженность к туземному, да ты этого и сама не скрываешь.

– Ну, и что же из этого! – горячо воскликнула молодая девушка, – не скрываю и не нахожу надобности скрывать. Да, мне здесь нравится, и знаете ли, главным образом, что именно нравится? Несложность и простота жизненных условий! Вы вот все, господа, взапуски браните туземцев и готовы чуть ли не под угрозой

смерти навязать им европейскую культуру, а между тем отсутствие этой самой культуры и есть величайшее благо. Туземец ближе к природе и через то правдивее и прямолинейнее, чем мы – европейцы.

Здесь еще не создалась та чудовищная разница в положениях людей, какую мы видим в наших городах, ну хотя бы, например, в Москве. Здешний бедняк муша несравненно ближе и по своему образу жизни, и по своим требованиям к самому богатейшему и знатнейшему хану, чем босяк с Хитрова рынка – к князю Трубецкому или даже какому-нибудь первогильдейскому купчине, утопающим в самой изысканной роскоши. Здесь вам не случается наталкиваться на такие контрасты: в подвале, у какой-нибудь несчастной прачки умирает от истощения единственное дитя. Умирает потому лишь, что у бедной матери не только нет средств покупать ему каждый день молоко, мясо, булку, но она не в состоянии даже пригласить доктора, чтобы тот хотя бы чем-нибудь облегчил страдания малютки, – а в том же доме но в бельэтаже, избалованная, раскормленная до пресыщения болонка или моська, любимица какой-нибудь знатной барыни-миллионерши, брезгливо отворачивает мордочку от чудеснейших, густых сливок, с намоченными в них бисквитами – по восемь гривен фунт. Встревоженная отсутствием аппетита своей любимицы, самодурка-хозяйка немедленно посылает горничную в карете за молодым ветеринаром; тот приезжает, глубокомысленно осматривает объевшееся животное, прописывает ему золоченые пилюли по три рубля коробка и важно удаляется, небрежно пряча в жилетный карман 5-10 руб. за визит. На негодную, дряхлую, полуслепую собачонку, долженствующую все равно не сегодня-завтра умереть от старости, тратится сумма, могущая спасти ребенка, в котором, может быть, таится зародыш гения! Ну, скажите, разве же это не чудовищно?! Разве можно желать торжества такой цивилизации?

– Ба, ба, ба, да вы, Лидия Оскаровна, совсем толстовка, – весело засмеялся Воинов, – такую нам картинку нарисовали, хоть в Крейцерову сонату включай!

Молодая девушка сделала презрительную гримасу.

– Как немного надо, чтобы прослыть толстовкой, – небрежно уронила она, – достаточно в известном случае про белое сказать, что оно бело, не серо и не желто!

– Положим, не совсем так, – возразил Воинов, слегка задетый небрежностью ее тона, – на ваш пример я бы мог многое ответить, хотя бы уже и то, что рядом с

барыней-собачницей, приводимой вами как пример, есть сотня других барынь, на средства и хлопотами которых существуют в той же Москве бесплатные лечебницы, приюты для сирот, богадельни для старцев и калек, о чем ваши, стоящие близко к природе, полудикари понятия не имеют. В Персии сумасшедшие ходят по воле, и когда ими овладевают припадки буйства, их бьют палками и камнями, в конце концов забивают насмерть; далее, я лично, своими глазами, видел заболевших бедняков или дряхлых старцев, беспомощно умиравших, подобно собакам, в кустах, у большой дороги, если только они не имели своего дома или хотя бы имущих родственников, так как ни больниц, ни каких бы то ни было общественных призрений там нет и не водится. Впрочем, не в этом дело и не об этом речь, а в том, что вы, Лидия Оскаровна, действительно чересчур доверчиво относитесь к туземцам, не зная их вовсе...

– Хотя бы, например, к двум здешним ханкам шах-абдским – перебил Осип Петрович, – ну, скажите сами, Аркадий Владимирович, – отнесся он к Воинову, – разве же я не прав, утверждая, что они страшная дрянь?! Ленивые, праздные, лживые и даже вороватые, а вот Лидия Оскаровна не хочет этому верить и видит в них каких-то героев из романов Марлинского.

– Ну, уж на героев-то в духе Марлинского они меньше всего похожи, – засмеялся Воинов, – хотя бы уже в виду их позорнейшей трусости. Вы, Лидия Оскаровна, не дивитесь, что у них кинжалы по аршину длиной и все в серебре, револьверы на боку и папахи на затылке, не смотрите и на их удалое гарцевание, гарцевать-то они мастера; поглядеть, как они галопируют и джигитуют на своих красивых конях, подумаешь, центавры да и только, джигиты, – но пусть-ка любая баба с коромыслом поэнергичнее напустится на них – живо, как петухи индейские, подберут крылья и дерка зададут. Знаете, что мне здесь, на Закавказье, всегда казалось курьезным, – обратился Воинов к Осипу Петровичу, – взаимное отношение местных жителей к местным разбойникам. Между ними точно раз навсегда уговор заключен: так как вы, мол, разбойники, то мы вас обязуемся бояться. Просто смеха достойно, – пять, шесть мерзавцев являются в селение, где сотни полторы одних мужчин, поголовно вооруженных кинжалами, а у многих даже и ружья есть, и бесцеремонно грабят их, а те или проявляют баранью покорность, или, что, впрочем, редко, оказывают какое-то опереточное сопротивление, издали потрясают оружием, кружатся на своих клячах и не без эффекта стреляют в небо. Добро бы и разбойники-то были головорезы, а то такие же трусы. В прошлом году, в Албадже, мой разъезд из трех человек случайно наткнулся на целую шайку кочаков; солдаты ружей из-за плеч снимать не успели, как вся шайка разбежалась во все стороны, побросав лошадей, навьюченных разной награбленной рухлядью. Некоторые из

разбойников даже оружие побросали с себя: кинжалы, винтовки и пояса с патронами. В довершение всего, все они как бараны, кинулись, в паническом страхе, очертя голову, в реку, не разобрав брода, причем трое из них утонуло, а было их человек пятнадцать, по крайней мере. Ужасная дрянь; мирные же татары даже таких боятся. Поверьте, если в то время, когда вы ездите кататься в сопровождении этих самых ханков шах-абадских, вам встретится один хотя бы самый замухристый кочак, даже без оружия, при одной дубине, ваши кавалеры, как зайцы, дадут стрелка, забудут и о своих серебряных кинжалах и о револьверах, бросят вас на произвол судьбы, а сами ускачут.

– Вот и я то же говорю, – вмешалась молчавшая до того Ольга Оскаровна, – но Лидия не хочет верить.

– Не не хочу, а не могу поверить, чтобы весь народ поголовно был одинаков; конечно, есть и трусы, но наверно есть же и храбрецы! – горячо возразила Лидия.

– Между персидскими татарами нет храбрецов, поверьте мне, – уверенно произнес Воинов, – вот курды, те еще ничего, да и их храбрость скорее сравнительная. Наряду с персами они, конечно, храбрецы, но сами по себе тоже трусы порядочные. Впрочем, я знаю одного человека в Персии, некоего Муртузагу, этот, пожалуй, будет храбрец недюжинный.

– Вот видите ли, значит, есть между персами храбрые люди! – воскликнула Лидия.

– В том-то и штука, что неизвестно, кто он такой; только едва ли перс. Про него разно рассказывают: одни говорят, будто бы он беглый русский, другие подозревают в нем обасурманившегося турецкого армянина или даже грека; сам же он выдает себя за перса, долго жившего в России. По-русски говорит прекрасно. Уверяет, будто бы выучился за бытность свою в России. Словом, Бог его ведает, кто он такой. Я познакомился с ним недавно и признаюсь, он на меня произвел сильное впечатление; субъект весьма интересный. Вот бы вам, Лидия Оскаровна, познакомиться с ним. Про него, пожалуй, и я скажу, что он личность вполне романтическая, решительно непохожая ни на кого из здешних.

– Да кто он такой и как вы с ним познакомились?

IX. Муртуз-ага

Кто он такой – я не знаю, а познакомился я с ним следующим образом. Несколько дней тому назад на рассвете, я был разбужен выстрелами. Сначала мне представилось, что это идет перестрелка на ближайшем участке моего отряда, но оказалось, стрельба шла на персидской стороне. Я живо оделся и бросился на крышу своего поста; но раньше чем продолжать, позвольте познакомить вас немного с местностью. Мой пост с офицерской квартирой, где я живу – Урюк-Даг, – как вам известно, отсюда верст на пять с небольшим и построен на высоком, крутом холме, мысом вдающемся в реку Араке. Противоположная, персидская сторона представляет из себя равнину, ограниченную с одной стороны цепью гор, удаленных от реки верст, на 5 на 6, не больше. Долина эта лишена всякой растительности и усеяна камнями и местами солончаками, издали похожими на пласты только что выпавшего снега. На всем пространстве, куда только достигает глаз, вы не заметите ни одного дерева, ни одного кустика, ни одной зеленеющей полянки; песок, камни и небо и больше ничего. Только по самому берегу реки, версты на две вглубь, идут сплошные, густые, непролазные заросли камыша. Камыш так высок, что в нем легко может спрятаться всадник на лошади, а о густоте его можно судить, только побывавши там, просто стена сплошная, да и только. Местность, на которой камыш растет, вся изрыта глубокими канавами, оврагами, рывинами, изобилует небольшими болотцами, излюбленным местом диких кабанов, во множестве водящихся в этих камышах. Когда я с биноклем в руках вышел на крышу, то увидел толпу всадников, человек 30 по крайней мере, одетых в одинаковые темно-синие кафтаны и бараньи шапки. Разбившись на небольшие группы, они носились по полю как угорелые, оглашая воздух криком и визгом. Время от времени они поодиночке или небольшими группами, человека по 2–3, сломя голову, неслись к камышам, но, не доскавав до них шагов 200–300, останавливались и принимались стрелять; в ответ на эту стрельбу из камышей тоже гремели выстрелы, после чего всадники поворачивали лошадей и мчались обратно. Смотреть со стороны было очень красиво. Снующие взад и вперед темные фигуры на разномастных лошадях, блеск оружия, блях и пуговиц, взрывающиеся то там, то здесь белые дымки выстрелов – и над всем над этим ясно-голубое, безоблачное небо. Солнечные лучи ярко освещали всю эту картину и придавали ей какой-то праздничный вид. Точно театр марионеток.

Я долго не понимал, что за штука происходит передо мной – и сначала был склонен принять все это за какую-нибудь военную игру – род нашей казачьей

джигитовки, но скоро должен был убедиться в том, что присутствую далеко не при мирной забаве. Я увидел, как один из всадников, вынесшийся далеко впереди других, осадил на всем скаку своего коня и молодецкато прицелился, но не успел он спустить курок, как из зарослей грянул дружный залп, зловещим эхом прокатившийся по долине. На одно мгновение я видел, как лошадь всадника взвилась на дыбы и затем тяжело опрокинулась навзничь, вместе с ездоком. Упав на землю, оба остались неподвижны, очевидно, убитые наповал. Признаюсь, при виде этих двух трупов, распростертых на горячих камнях, еще за минуту перед тем полных такой жизненной энергии и увлечения, мне стало жутко и вместе с тем безотчетно жалко убитого перса. На остальных всадников гибель товарища подействовала поджигающе, я думал, они рассыплются во все стороны, как воробьи, но ошибся. Как только ездок и лошадь упали, все остальные всадники издали пронзительный визг и как один со всех сторон понеслись к камышам, откуда навстречу им, не переставая, трещала частая, но, очевидно, бестолковая ружейная пальба.

Впереди атакующих скакал человек на белом рослом коне. Издали он не отличался от остальных, такой же темный кафтан с блестящими пуговицами, такая же конусообразная папаха с горевшим на солнце медным гербом, но по тому, как он энергично размахивал кривой шашкой и, оборачиваясь назад, громко и повелительно кричал на поспешавших за ним других всадников, я угадал в нем предводителя. Сзади всадника на белой лошади скакал другой с чем-то вроде знамени в руках: недлинная палка с развевающимся на ее конце густым конским хвостом и какими-то пестрыми лентами.

В ту минуту, когда всадники были уже в нескольких шагах от камышей, двое из них вдруг закачались на седлах и кубарем покатались вниз под копыта коней, которые, почуя свободу, шарахнулись в сторону и понеслись по полю, испуганно подняв головы и разметав по ветру длинные хвосты.

Ближайшие к убитым всадники не выдержали и, круто повернув лошадей, со своим предводителем во главе, лихо ворвались в камыши и почти одновременно с этим оттуда, как зайцы, во все стороны посыпались спасающиеся бегством пешие и конные курды. Несколько человек кинулось в степь, другие пустились вдоль берега по камышам, точно преследуемые охотниками кабаны, но большинство решилось пробиваться к горам. С пронзительным воем, стреляя на скаку из ружей, набросились курды на ближайших всадников и, в мгновение ока прорвавши их негустую цепь, помчались к горам, где они могли считать себя вне опасности. Двое со страху, как слепые, кинулись в Араке, очень быстрый и

глубокий в этом месте, но их тотчас же захлестнуло волнами, стремительно сорвало с лошадей, закрутило, завертело как щепки и потащило вниз на острые выступы подводных скал. Несколько минут утопающие отчаянно боролись с яростным течением, но скоро выбились из сил и скрылись под водой. Я видел, как раза два высунулись над водой их искаженные страхом лица, как мелькнули в воздухе ослабевшие руки, и затем все исчезло. Река поглотила свои жертвы. Тем временем лошади всадников, освободившись от тяжести, благополучно, хотя и с трудом приближались к нашему берегу. Их сильно сносило течением, по крайней мере версты на три ниже поста. Я приказал вахмистру послать несколько человек конных перенять их, что и было исполнено.

Тем временем прорвавшаяся кучка курдов бешеным галопом неслась по горам, преследуемая по пятам всадниками. Вот тут-то во время этого преследования я и убедился в том, насколько начальствовавший над персами в синих кафтанах предводитель был истый герой и молодец. Не обращая внимания на то, следуют ли за ним, в каком числе и на каком расстоянии его люди, он с беззаветной храбростью, как коршун, бросился в самую середину врагов. Я видел, как он наскочил на одного огромного курда, свалив его с лошади сильным ударом шашки по голове, не останавливаясь, ринулся на другого; завидя его, курд, как кошка, перекинулся на другую сторону седла и направил в предводителя дуло своего пистолета, но тот грудью своей массивной лошади опрокинул жалкую курдскую клячонку и в то время, как лошадь и всадник кубарем летели на землю, он выстрелом из револьвера размозжил голову последнему. Покончив и с этим, он пустился за остальными и вмиг догнал их, но курды потеряли уже совсем головы. Паника всецело охватила их, и все они как по команде неожиданно побросали ружья и повалились с лошадей на землю. Уткнувшись лицом в землю, стояли они на коленях, жалобно вопя о пощаде. Персы мигом окружили их и с криком и гвалтом принялись крутить им руки. Теперь, когда уже курды покорились, преследователи их показывали большую энергию и храбрость, но я уверен, не будь предводителя, они бы ни за что не дерзнули задержать отчаянных разбойников. Таким образом, можно сказать, что начальник одной своей беззаветной храбростью и умением лихо рубиться принудил человек пятнадцать отчаяннейших головорезов положить оружие и отдаться в руки его людям.

Предводитель этот, проявивший такое мужество, удаль и находчивость, и есть тот самый Муртуз-ага, о котором я упоминал как о единственном храбром персе, встретившемся мне в жизни. Я в тот же день познакомился с ним и вот при каких обстоятельствах.

Когда курды были все перевязаны, начальник распорядился отправить их под сильным конвоем большей половины своих людей куда-то внутрь страны, очевидно, в Суджу, а сам с остальными вернулся назад к реке распорядиться захватить мертвых и раненых. Я не мог преодолеть своего любопытства узнать в точности, что это было за происшествие, которому я был свидетель. Я приказал приготовить лодку и, взяв с собой вахмистра и трех рядовых, поехал на ту сторону. Когда мы подъехали, то увидели всадников, уже выстроенных в одну шеренгу шагах в двадцати от берега; предводитель на серой лошади стоял впереди, и только мы вышли из лодки, он что-то крикнул своим, похожее на команду. По этому окрику всадники выхватили свои шашки и, подняв их высоко над головой, взяли ими на плечо, наподобие того, как мужики и бабы носят серпы.

После этого предводитель повернул на меня свою лошадь и, подскакав, на всем карьере осадил ее перед самым моим носом.

– Имею честь представиться, – прикладывая руку ко лбу, произнес он на чистом русском языке, – Муртуз-ага, сарбаз-султан Сардаря Хайлар-хана Суджинского.

Мы поздоровались, после чего он соскочил с лошади, приказал принести ковер и пригласил меня сесть. Откуда ни взялся изящный кальян, – и между нами завязалась беседа. На мой вопрос о только что виденном он дал мне следующее объяснение. Несколько дней тому назад партия турецких курдов, прорвавшись через персидскую границу, напала на приграничных жителей, ограбила их, после чего часть партии с награбленным добром поспешно вернулась восвояси, а часть направилась вдоль реки, в расчете, вероятно, сделать набег еще на какие-нибудь селения или даже попытаться переправиться на русскую сторону и, свершив там ряд грабежей, уйти обратно в Турцию.

Узнав о произведенных курдами бесчинствах, Хайлар-хан, Сардар Суджинский приказал Муртуз-аге, исправляющему должность командира единственной в Судже и им самим сформированной полурегулярной сотни телохранителей Сардаря, идти в погоню за оставшейся в пределах шайкой и уничтожить ее. Три дня Муртуз-ага шел по следам курдов, которые, заметив погоню, решили, ради своего спасения, перебраться на русскую сторону и скрыться в непроходимых, девственных горах Адарбаха. Для переправы они выбрали густые камыши, на несколько верст тянущиеся вдоль границы в глухой, безлюдной пустыне Беюк-Дага, против дистанции моего отряда. Приди они немного раньше, еще ночью,

им бы, пожалуй, удалось благополучно прорваться, благодаря малочисленности солдат, особенно в настоящее время, в период повальной малярии, когда большая половина людей в беспамятстве валяется на постах. Но, на их несчастье, они запоздали и, когда достигли берега, то уже ночь подходила к концу; разбойники не решились начать переправу, твердо убежденные в невозможности проскользнуть на рассвете незамеченными пикетами пограничной стражи. Зная трусливую медлительность персов, курды были уверены, что посланные в погоню за ними сарбазы Сардара, в свою очередь, днем не посмеют атаковать их открытой силой, а дождутся ночи, когда и откроют бесцельную перестрелку, под прикрытием которой преследуемым легко будет уйти в какую угодно сторону. Так бы оно и вышло, если бы сарбазами командовал не Муртуз-ага. Отчасти личным примером мужества, а главным образом – обещанием подвергнуть тех, кто выкажет трусость, жестоким наказанием, он сумел возбудить в своих людях прилив мало свойственной им отваги, результатом чего и был полнейший разгром шайки.

Слушая Муртуз-агу, я внимательно приглядывался к нему, и, признаться, он мне в высшей степени понравился и заинтересовал меня. Это был человек среднего роста, лет 38, с красивыми усами, большеглазый, худощавый, нервно подвижный, с изящными жестами.

– Где вы выучились так хорошо говорить по-русски? – спросил я его.

Он лукаво улыбнулся и не сразу ответил.

– Мой дядя был тифлисским торговцем, и я долго жил с ним в Тифлисе, а раз даже ездил в Москву, – произнес он наконец и затем уже больше к этому вопросу не возвращался. Мы просидели часа три – и расстались друзьями, по крайней мере я положительно от него в восторге. Затем я спрашивал его, почему он не ездит на нашу сторону.

– Хан не любит, когда его приближенные без особенной нужды посещают Россию! – ответил он мне.

– Почему же? – задал я вопрос.

– Боится измены, – улыбнулся Муртуз-ага, – он, говоря между нами, страшно опасается, чтобы русские не вздумали захватить Суджу. На шаха надежда

плохая; мы достоверно знаем, что несколько лет тому назад он тайно предлагал русскому правительству уступить Суджу за известную сумму, но русские не согласились.

- При расставании он взял с меня слово приехать на кабанью охоту. Я уже написал нашему командиру отдела, он давно собирается на кабанов; вы, Осип Петрович, тоже, наверно, не откажетесь?!

- Отчего же, я с удовольствием! - согласился Щербо-Рожновский.

- А нам с Олей можно будет поехать? - спросила Лидия.

- Это зависит от командира отдела, - сказал Воинов, - если он ничего не будет иметь против присутствия дам на охоте, то почему же бы вам и не ехать. Мы вам выберем безопасное место, с которого вы все прекрасно увидите!

- Ну, за нашего милого Павла Павловича я вперед уверена, - засмеялась Ольга, - он такой любезный дамский кавалер, что наверно не откажет. А как же мы поедем?

- До моего поста можно в экипажах, тут недалеко, всего верст пять, а там через Араке на лодках, лошадей же наших солдаты переправят вброд!

- Вот отлично-то, - захлопала в ладоши Лидия, - ах, как будет весело! О, - обрадовалась она, - мы увидим кабанов?

- Если только они будут, то, разумеется, увидите. Мы поставим вас где-нибудь на возвышении на линии стрелков, так, чтобы загон прошел мимо вас!

Х. На охоту

На посту Урюк-Даг с раннего утра идет суматоха. Еще с вечера к Воинову, в его холостяцкую квартиру, собралась целая компания. Из г. Нацваллы приехал командир отдела Павел Павлович Ожогов с военным врачом Ладожинским, а из Шах-Абада - Осип Петрович с женой и Лидией. Вечер прошел очень оживленно.

Смеху и шуткам не было конца.

Павел Павлович, бывший лейб-улан, спустивший в свое время большое состояние, имел дар оживлять всякое общество, что же касается дам, то с ними он был изысканно любезен и своим обращением, веселыми шутками, умением ухаживать тонко и деликатно, заставлял забывать и свою большую лысину, и седину пятидесятилетнего старика, впрочем, еще весьма хорошо сохранившегося.

Для ночлега Воинов уступил дамам свой кабинет, мужчины же спали на крыше. В Закавказье летом редко кто из мужчин спит в комнатах, где из-за мошкеры нельзя спать иначе, как под густым пологом; поэтому многие предпочитают сон на свежем воздухе, на крышах или на особенно устроенных высоких вышках, откуда мошку сдувает ветром. Как обыкновенно бывает, когда соберется компания мужчин, половина ночи прошла в рассказывании анекдотов, на которые был особенно мастером Павел Павлович; а с появлением рассвета на посту поднялась такая суета, что заснуть не было никакой возможности.

Первым делом, пока еще барыни не встали, надо было переправить лошадей. Человек десять солдат, искуснейших пловцов, раздевшись донага, под наблюдением вахмистра Терлецкого, сидя на неоседланных лошадях, собрались на берегу. Дня за два перед этим в горах выпали сильные дожди, отчего уровень Аракса значительно повысился, что в соединении с быстротой течения и изменчивостью дна делало переправу не совсем безопасной, но для закаленных боевой обстановкой их жизни пограничных солдат это казалось сущим пустяком. Весело смеясь и перекликаясь между собой, смело двинулись они длинной вереницей один за другим в реку. Их голые мускулистые тела, с медными тельниками на шеях, обрызганные летящими из-под конских ног каплями воды блестели в ярких лучах величественно восходящего солнца, и громкие, удалые возгласы задорно неслись над широкой поверхностью реки. Потемневшие от воды лошади громко фыркали и храпели, косясь на бурлящие у их ног мутные волны.

На середине реки, когда вода начала уже заливать круп лошади, передний всадник ловко соскользнул с ее спины в реку и поплыл рядом, держась правой рукой за гриву, а левой брызгая коню морду, чтобы этим заставить его плыть прямо.

Остальные, по мере того как доезжали до того места, где передовой соскочил с лошади, следовали его примеру. Красиво было смотреть со стороны на эти торчащие из воды конские морды с широко раздутыми ноздрями и тревожно вытаращенными глазами, на правильном расстоянии следовавшие друг за другом, а подле них – русые, черные, белокурые гладко остриженные человеческие головы, с разгоревшимися лицами, со спокойной отвагой в глазах. Течение было сильное, и лошадей сносило далеко ниже того места, куда сначала было предположено высадиться. Две лодки, по четыре гребца каждая, следовали за переправлявшимися. На корме каждой из них стоял солдат со спасательным кругом в руках, зорко и внимательно следя за плывущими, готовый каждую минуту прийти на помощь, в случае если бы кто-либо из них, оторвавшись от лошади, начал тонуть.

Пока шла переправа, на противоположном берегу собралась большая толпа курдов и татар, внимательно и одобрительно следивших за русскими пловцами. Это были все люди, приведенные Муртуз-агой, для исполнения роли загонщиков в предстоящей охоте. Сам Муртуз-ага тем временем хлопотал около раскинутого на скорую руку полушатра особого устройства, состоявшего из одной холщовой стены и такой же покато поставленной крыши; шатер этот, будучи с трех сторон открытым, в то же время служил прекрасной защитой от палящих лучей солнца.

Два мальчика курда быстро и ловко разводили самовар, расставляли маленькие разрисованные цветами стаканчики, грубого стекла сахарницы с колотым сахаром и вареньем, которое они доставали из пузатых оплетенных камышом банок. Угрюмый высокий курд в пестрой чалме и малиновой бархатной куртке, сидя в стороне на корточках, сосредоточенно заготавливал все нужное для шашлыка. Перед ним на большом совершенно круглом медном подносе лежала целая гора мелко нарезанных кусочков жирной баранины, помидор, красного перца и бадражан. Он медленно брал эти кусочки двумя пальцами, едва когда-нибудь имевшими хоть какое-нибудь знакомство с мылом и нанизывал их вперемешку на длинные железные прутья – шампура. Тут же возвышалась целая груда тонкого, белого, выпеченного на молоке лаваша, а подле него охапка съедобных травок. Несколько бутылок отличного коньяку, к которому богатые и знатные персы, несмотря на запрещение Корана, питают трогательную нежность, скромно прятались под холщовой, намоченной в воде в целях охлаждения тряпкой. Очевидно, Муртуз-ага собирался принять своих русских гостей на славу; он еще с вечера присылал своего нукера на пост Урюк-Даг, прося Воинова и всю собравшуюся у него компанию утренний чай пить у него, Муртуз-аги. Ему охотно обещали, и теперь он спешил поскорее все приготовить

к встрече.

Сначала на ту сторону было переправлено десять казенных лошадей, предназначавшихся для командира отдела, доктора, вахмистра и семи расторопнейших нижних чинов, на обязанности которых лежало руководить загонщиками; после казенных были переправлены таким же порядком и собственные лошади Воинова, Рожновского и его двух дам. Когда переправа окончилась, лошадей поспешно заседлали привезенными на лодках седлами. Тем временем господа уже собрались на берегу в ожидании лодок, чтобы ехать на персидскую сторону.

– А знаете ли, мне жутко делается, – говорила Лидия Оскаровна своему кавалеру Ожогову, садясь с ним рядом в лодку. – Я ведь первый раз в жизни переезжаю границу. Как-то странно сознавать, что вот этот берег наш, а через каких-нибудь 20–30 сажень начнется территория чужого государства с совершенно иным строем жизни!

– Ну, тут по крайней мере, хотя река, все-таки же некоторая преграда, – отвечал Ожогов, – а вот на западной границе местами черта, отделяющая Россию от соседнего государства, представляет из себя не что иное как неглубокую канавку. Я сам, когда поступил в стражу и в качестве отрядного офицера приехал на границу, долго не мог привыкнуть к мысли, что вот, мол, эта сторона канавки Россия, а это – на вершок дальше, – Пруссия. Ничтожная, едва заметная бороздка, через которую воробей перепрыгнет, а подумайте, какое громадное значение играет она в жизни двух государств! Господствующая религия, законы, порядки, мировоззрение, наконец, язык, история, идеалы, обычаи – все разное, во многом даже враждебно-противоположное. Что на одной стороне канавки разрешено, то на другой ее стороне – запрещается, – и наоборот. Этой ничтожной чертой проведена грань владычеству Монархов. По эту сторону он всемогущий, как Бог, повелевающий миллионами, для которых каждое его слово – закон, могущий одним росчерком пера изменить судьбы своего государства, там, за этой канавкой, является только почетным гостем, юридически не имеющим права отдавать кому бы то ни было и какое бы то ни было приказание, и это еще не все. Самое главное, что за рубежом этой канавки стоят лицом к лицу многомиллионные народы, готовые биться до последней капли крови, принести огромные жертвы, чтобы только эта канавка не передвинулась вправо или влево, на более или менее значительное расстояние!

– Вы совершенно правы, но могу себе представить, какое особенное значение получает эта, как вы называете ее, канавка в глазах тех, кто по той или другой причине принужден бежать из своего отечества и искать за ней спасение, – задумчиво произнесла Лидия, – подумать только, какая страшная разница в положении: на одной стороне преступник, которого могут каждую минуту схватить, посадить в тюрьму, казнить, лишить всех человеческих прав, на другой – свободный гражданин, никого и ничего не боящийся, могущий начать свою жизнь сизнова...

– Но навсегда потерявший свою личность, свое – я! – перебил Ожогов. – Мне случалось встречаться с подобными личностями, и все они были глубоко несчастны. Для человека полный разрыв с родиной чрезвычайно тяжелая вещь, особенно для простолюдина; в конце концов, редко кто выдерживает это испытание и рано или поздно возвращается в свое отечество, готовый принять какое угодно наказание!

Увидя приближающиеся лодки, Муртуз-ага, не торопясь, с сознанием собственного достоинства, подошел к берегу и остановился, пристально разглядывая сидящих в них. Кроме Воинова, остальных гостей он видел в первый раз; не зная наперед, кто именно должен был приехать, он безошибочно угадал всех, только относительно дам он не был уверен, которая из них жена шах-абадского султана, а которая сестра; обе были молоды, обе красавицы, хотя совершенно разные лицом. Одна брюнетка, слегка смуглая, черноглазая, с густыми бровями, высокая и стройная, с пышно развитым бюстом, другая – роскошная блондинка, с бледно-розовым лицом, изящным очертанием губ и большими голубыми глазами, смело и задумчиво глядящими из-под тонко очерченных бровей. Целый каскад светло-пепельных, от природы вьющихся волос красивыми прядями ниспадал на высокий, беломраморный лоб, из-под кокетливо сдвинутой набекрень жокейской шапочки с большим прямым козырьком. В одном обе сестры были похожи друг на друга: обе были высокого роста и прекрасно сложены. Одеты они были тоже одинаково в темно-синие амазонки из легкой шерстяной материи, перетянутые простыми кожаными английскими поясами, на головах жокейские шапочки, у брюнетки белая с красным, а у блондинки – белая с голубым.

Когда лодки причалили к берегу, первый выскочил Ожогов; он никому не хотел уступить лестного, по его выражению, права помочь дамам сойти на землю. С ловкостью опытного дамского кавалера он осторожно, чуть не на руках вынес их из лодки и с полупоклоном поставил на сухое место.

– Вы, Павел Павлович, просто прелестны! – не утерпела, чтобы не сошкольничать, Лидия. – Воображаю какой вы были в молодости!

– А разве теперь я стар? – с шутливой гримасой спросил Павел Павлович, в глубине души слегка задетый за живое словами Лидии.

Когда все общество вышло на берег, Воинов представил им Муртуз-агу, который, почтительно приложив руку к сердцу, отвесил всем изысканно-вежливый поклон и поспешил пригласить в шатер, откуда уже несся приятно раздражающий запах поджариваемой баранины.

– Милости прошу, господа! – вежливо приглашал Муртуз, жестом руки указывая на разостланные на земле ковры, на которых уже были расставлены тарелки с разными закусками. – Перед охотой надо хорошенько закусить!

Лидия, уже раньше, со слов Воинова, чрезвычайно заинтересованная Муртуз-агой, нарочно села так, чтобы, не будучи самой у него на глазах, иметь возможность наблюдать за ним. С первой же минуты он произвел на нее весьма выгодное впечатление. Оставаясь все время крайне предупредительным, в высшей степени учтивым и любезным, он в то же время ни на минуту не терял сознания своего достоинства, держал себя спокойно, просто, говорил мало, больше слушая других. Лидии особенно нравился тон, каким Муртуз-ага отдавал приказания прислуживавшим нукерам; в его голосе, в манере произносить фразы коротко, отчетливо слышалась непреклонная воля, привычка повелевать. Невольно чувствовалось, что послушаться этого человека, по-видимому, такого мягкого и любезного, крайне опасно. Когда один из нукеров нечаянно опрокинул на землю налитый чаем стакан, брови Муртуз-аги слегка дрогнули, а глаза на мгновение сверкнули холодным, стальным блеском; впрочем, он поспешил замаскировать свой гнев самой непринужденной улыбкой и тем же спокойным голосом продолжал сообщать Ожогову план предстоящей охоты.

XI. Облава

Солнце стояло довольно высоко, когда, окончив чаепитие, компания тронулась в путь. Проехав версты 3–4 на рысях до небольшой группы холмов, охотники, слезли с лошадей и поспешно разошлись по своим местам. Каждый стал, как ему

казалось удобнее, у подошвы холмов, слегка замаскировавшись кустиками гребенчука. Барынь поместили на вершину крайнего крутого холма, где лежал огромный камень. Предупредительный Муртуз-ага распорядился постлать на него ковер, и образовался род дивана, сидя на котором Лидия и Ольга могли отлично видеть все происходящее внизу, будучи в то же время вполне в безопасности. Лошадей поставили за холмом, совершенно в стороне, чтобы они не могли испугаться выбегающего зверя. Загонщиков отправили заранее. Они должны были с трех сторон окружить камыши и, суживая постепенно круг, гнать зверя к холмам на ожидавших его там охотников.

Ближе всех к дамам стал Муртуз-ага, и Лидия невольно залюбовалась на его высокую, стройную фигуру, бледное выразительное лицо, большие черные глаза, в которых теперь загорелся огонек охотничьей страсти, на то, как он спокойно и свободно стоял, с ружьем наготове, отставив вперед левую ногу и пристально глядя в камыши. Следующим за Муртуз-агой был Воинов. Лидия неожиданно для себя сделала между ними сравнение. Воинов, тоже красивый, рослый и крупный, казался каким-то слишком ординарным, обыкновенным. Офицер, каких сотни, – определила Лидия, – добрый, симпатичный, честный, наверно не трус, но без всякой оригинальности. Теперь он думает о скорейшем производстве в поручики; лет через двадцать будет мечтать о чине подполковника. В жизни его нет ничего таинственного, все ясно, просто, буднично-серо и однообразно, как однообразен обед, который ему готовит его денщик. Незатейливо, как незатейливы его привычки, давно до тонкости изученные его Иваном. Словом, он весь налицо: здоровый, сильный, слегка неряшливый, добродушно-веселый и самодовольный, – тогда как Муртуз-ага весь одна сплошная загадка. Прежде всего, кто он такой, откуда родом? Что он не природный перс, было несомненно, в нем не было ничего рабски лукавого, ничего приниженного, как у настоящих персов, а вместе с этим не замечалось и присущей азиатам холодной, бессознательной жестокости, стихийно проявляющейся у них во всем решительно. Но если он не был персом, то и за русского принять его было нельзя, несмотря на его умение в совершенстве говорить по-русски. Тип у него был не русский, и в произношении слышался явно заметный акцент. Так же трудно, как определить народность Муртуз-аги, было не легко угадать и его социальное положение. Он не был человеком из низшего сословия, но и к настоящим интеллигентам причислить его тоже было нельзя. Во всяком случае, он не был европеец; что-то дикое, непосредственное, наивно-патриархальное то и дело проскальзывало в его словах, в манерах, в жестах; иногда он сам замечал это за собой и спешил поправиться, но чаще сам не видел угловатости своих манер.

Протяжный, жалобный аккорд охотничьего рожка, пронесшийся в мертвой тишине пустыни, вывел Лидию из ее задумчивости. Она подняла голову и насторожилась. По тому, как встрепелулись охотники, как торопливо вскинули ружья и сосредоточили все свое внимание на расстилающемся перед ними необозримое море камыша, слегка колеблемое пробегающими по нем порывами ветра, Лидия поняла, что загон начался. Действительно, минуты две спустя ее напряженный слух начал улавливать отдаленный не то вой, не то стон. То тут, то там стали вырываться отдельные возгласы, взвизгивания, свистки... где-то громко трещали и звенели деревянные и железные колотушки. С каждой минутой шум и гам, производимый сотней голосов, становился все слышнее и скоро слился в одну невообразимую какофонию звуков. Можно было подумать, что целая свора бесов спущена в камыши и неистовствует там, наводя ужас на их чутких обывателей. Лидия Оскаровна почувствовала, как знакомое охотникам увлечение охватило и ее. Она стояла, насторожась, вперив свой пристальный, внимательный взгляд в чащу зарослей; сердце ее усиленно билось, щеки разгорелись, она дышала быстро и нервно. Вдруг она почувствовала на себе чей-то пристальный, тяжелый взгляд; она невольно оглянулась, - и глаза ее встретились с парой других глаз, черных и глубоких, как бездонная пропасть.

От волнения лицо девушки еще более похорошело; она стояла на холме, стройная и прекрасная, со слегка покрасневшимся лицом и сияющими глазами, как какое-то неземное существо, подобно гурии рая, созданной пылкой восточной фантазией. Муртуз поднял глаза, был поражен и стоял, забыв все на свете, будучи не в силах оторвать своего горящего восхищенного взора от обаятельной фигуры девушки.

Только строгий взгляд, брошенный на него Лидией, заставил его опомниться; он быстро опустил глаза и вперил их в камыш.

Лидия, хотя немного и раздосадованная, тем не менее не без некоторого удовольствия подумала о том чувстве ошеломленного восторга, какое она подметила в глазах Муртуза. При этом, помимо ее воли, в ней шевельнулась мысль, что только один Муртуз обратил внимание на ее волнение, остальные же стояли всецело погруженные в созерцание камышей, с минуты на минуту выжидая появления кабанов.

Третьим стоял Ожогов; между ним и доктором, выбравшим себе крайний номер, помещался Осип Петрович. Ему и доктору, как сравнительно плохим стрелкам и малоопытным в кабаньей облаве охотникам, на всякий случай было назначено по

одному пограничному солдату с примкнутым к ружью штыком. Это на тот случай, если бы раненый кабан бросился на охотника. Ожогову тоже советовали поставить рядом с собой вахмистра Терлецкого, прекрасного стрелка и как человека очень смелого и расторопного, но он не захотел, главным образом совесть да, и теперь стоял, колеблемый противоположными чувствами. Как охотнику – ему очень них чтобы кабаны, во всяком случае самые крупные из них, вышли бы на него, чувство же самосохранения против воли нашептывало: «Э, Бог с ними и с кабанами, пусть выходят на тех, кто лучше меня стреляет».

Ожогов не был трусом, но его смущала неуверенность в своей меткости и ловкости, столь необходимой в этой опасной охоте, где промах или неловкое движение стоит иногда жизни.

Зато Воинов был совершенно спокоен, словно дело шло о каком-нибудь зайце. Он внимательно глядел перед собой, готовый каждую минуту к выстрелу. Что же касается Муртуза, то после того как он отвел свои глаза от Лидии, он, очевидно, впал в состояние рассеянности, опустил ружье и стоял, не видя ничего перед собой, кроме запечатлевшегося в его мозгу образа девушки. Лидия инстинктом угадала странное состояние его души и готова была ему крикнуть, чтобы он был внимательнее, но в это мгновение из камыша, как два серых пушистых комочка, выкатилась пара зайцев. Приложив ушки за спину, выпуча глаза, неслись они, не видя ничего перед собой, и с разбега чуть не наскочили на Муртуза. Ошеломленные неожиданной встречей, они разом присели, недоуменно пошевелили ушами, повели носом и вдруг, как бы собравшись с новыми силами, ринулись со всех ног между Муртузом и Воиновым.

В ожидании более интересной добычи те беспрепятственно пропустили их, и бедные испуганные зверьки, не веря своему благополучию, стрелой пролетели через прогалину и скрылись в гребенчуге по ту сторону холмов.

Появление зайцев заставило Муртуз-агу очнуться; он как бы весь встряхнулся и поспешил сосредоточить свое внимание.

– Джановар, джановар! – раздалось вдруг на одном конце загона, и почти тотчас же из другого конца дикими воплями донеслось: – Дунгуз, дунгуз!

В камышах, очевидно, были и кабаны, и волки.

Охота обещала быть интересной.

Вопреки зайцам, продолжавшим то в одиночку, то по два и по три стремительно вылетать из камышей и, пропускаемым охотниками, беспрепятственно скрываться за холмами, – крупные звери не торопились покидать густую чащу и медленно и осторожно подвигались вперед, пугливо прислушиваясь в одно и то же время и к раздававшемуся сзади них шуму, и к предательской тишине впереди.

Со своего места Лидия и Ольга видели, как шевелился камыш, слышали треск ломаемых сухих стеблей, но зверя пока еще не видно было. Наконец, то там, то сям замелькали среди камыша фигуры загонщиков. Они ехали длинной цепью, равняясь между собой и зорко поглядывая по сторонам, чтобы не допустить животных повернуть назад. На фоне золотисто-желтого камыша яркими пятнами пестрели красные куртки курдов, серые халаты персов и белые рубахи солдат, которые в числе нескольких человек, разместившись вдоль всей цепи, руководили ее движением. Разномастные лошади, крошечные, тощие, суетливые у курдов, и рослые, раскормленные и несколько ленивые под солдатами, придавали еще большее оживление этой характерной картине. Всадники ехали медленно, шаг за шагом, местами с трудом продираясь сквозь густые заросли, то сжимая, то расширяя свой круг. Время от времени они останавливались, подравнивались и затем снова двигались дальше.

Вдруг в нескольких саженьях, прямо перед собой, в густой чаще камыша Лидия увидела какую-то, показавшуюся ей в первое мгновение огромной, серую массу. Не успела она еще сообразить, что за зверь мог это быть, как на прогалину выскочил большой серо-бурый волк. Высоко подняв голову, насторожив уши, он шел широким, размашистым галопом, легко и мягко перепрыгивая, точно перелетая, через низкий кустарник. Очевидно, умный зверь еще не мог уяснить себе, откуда, с какой стороны ждать главную опасность, а потому и не торопился, шел в полмаха, с оглядкой, готовый каждую минуту метнуться в любую сторону. К большому изумлению Лидии, за волком следом, чуть не касаясь носом его хвоста, катил заяц. Глупый зверек был так напуган несшимся за ним по пятам шумом и гамом, производимыми загонщиками, что, по всей вероятности, не видел и не сознавал, в каком опасном соседстве находится.

Он скакал за волком, как скажет на маневрах лихой корнет-адъютант за сердитым командиром полка, не предчувствуя, что сегодня же вечером будет сидеть на гауптвахте.

Со своего места Лидии прекрасно было видно, как Муртуз-ага медленно, не торопясь, поднял ружье и приложился. Волк был всего в нескольких шагах и шел прямо на Муртуза, но в ту минуту, когда тот готовился нажать на спуск, хитрый зверь, как бы угадав близость врага, сразу остановился, дал огромный прыжок в сторону и, расправив ноги, с быстротой летящей птицы помчался вдоль камышей, не выскакивая в то же время весь на прогалину. Лидия видела, как мелькала между камышом его серая туша, то скрываясь, то снова показываясь. Муртуз, не рискуя выпустить пулю даром, опустил ружье. Первым выстрелил Воинов, за ним Ожогов. Оба выстрела очевидно задело волка – он пошел гораздо медленнее, на скаку судорожно низко кивая головой. После третьего выстрела, сделанного Осипом Петровичем, волк вдруг присел на задние ноги и злобно защелкал зубами. Он не в силах был бежать дальше и только оскалился, глядя на охотников глазами, полными страха и ненависти. Стоявший подле Рожновского солдат спокойно и смело подошел к огрызающемуся зверю и со всего размаха вогнал ему штык между ребер, после чего волк бездыханный свалился на бок.

Не успели покончить с волком, как где-то близко-близко раздалось негромкое, но зловеще-грозное шуршанье, – и из камыша поспешно выбежала огромная, неуклюжая, косматая черно-бурая масса, с огромной головой, блестящими длинными клыками и маленькими, налитыми кровью, горящими как уголь глазами. Это была большая дикая свинья, с целым десятком маленьких, полосатых и миловидно-забавных поросят, суетливо, с громким визгом метавшихся вокруг матери. Низко наклонив голову, хрюкалом до самой земли, и раскрыв чудовищную пасть с блестящими острыми, длинными зубами, свинья неуклюжим скоком направилась прямо на Муртуза-агу. Тот стоял, не спуская с нее глаз, держа ружье на прицеле. Когда свинья приблизилась шагов на пятнадцать, Муртуз, не торопясь, плавно и осторожно надавил пальцем спуск курка. Грянул выстрел, и свинья как подкошенная свалилась на бок, оглашая воздух пронзительным, злобно-болезненным визгом. Она билась и металась по земле, всеми четырьмя ногами взрывая целые тучи черной пыли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tn.knigapoisk.com/tyutchev_fedor/beglec

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)